

АНАТОЛИЙ ДИМАРОВ



## ВЕРШИНЫ

ПОВЕСТЬ

ХРОНИКИ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

*Анатолию Скригитиллю,  
геологу, альпинисту*

### 1

И снова этот ветер. Этот, будь он проклят, ветер! Швыряет песок, сбивает траву. Люто треплет палатки, задувает в каждую щёлочку. Гудит по узкой глубокой долине... Долина! Четыре тысячи двести над уровнем моря! Влетит, как реактивный самолёт. Согнувшись, вылезает наружу и сразу попадаю под ветер. Ледяной, неистовый, беспощадный. Пружинистый, словно вода. С трудом переставляю ноги, отхожу подальше от лагеря.

В адски чёрном небе враждебно застыли звезды. Острые хребты, с двух сторон стиснувшие долину, грозно нависают над лагерем. Лунный пейзаж: порой кажется, что мы не в долине, а в гигантской аэродинамической трубе, нацеленной прямо в небо. Ещё один резкий порыв ветра, ещё один натиск — и все наши палатки будут сорваны, смяты и вышвырнуты в космос.

Вчера среди ночи наша палатка не выдержала и разорвалась пополам. Ветер бешено ворвался внутрь, выдрал из печки трубу, скрутил, швырнул её

---

*ДИМАРОВ Анатолий Андреевич — участник Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном фронте с первых дней и до 1944 года, когда был демобилизован как инвалид войны. Был дважды ранен и контужен. Закончил Львовский государственный университет и Московский литературный институт. Много лет проработал в Таджикистане, участвуя в поисках самоцветного сырья. Автор романов "Поэма о камне", "Его семья", "Идол", "И будут люди", "Боль и гнев" и нескольких сборников повестей и рассказов.*

в Анатолия. Одним духом выдул горячий уголь, залепил пеплом лицо. Ослеплённый, оглушённый, кашляя и отплевываясь, я барахтался в спальном мешке, пытаюсь найти замок от “змейки”, а полотнище оглушительно стреляло над самым ухом, и звёзды сыпались в злобеще разодранное отверстие. Всё, что было в палатке, вмиг ожило, взлетело в воздух, закружилось в бешеной карусели.

Пока я возился в спальном мешке, Анатолий выплясывал посреди палатки, ловя оборванные концы полотнища.

До утра мы провоевали с ветрищем. Разодранная пополам палатка то вздувалась, отрывая нас от земли, то вдруг опадала, наотмашь ударяя по лицу. Переполненный отчаяньем и злостью, я ругался, как последний биндюжник, Анатолий же молча держал свою половину палатки и, кажется, ухитрялся даже дремать.

Дождавшись рассвета, мы принялись спивать палатку. Ветер, поиздевавшись вволю, улетучился прочь, холодный рассвет стремительно вливался в долину. Вокруг валялись наши пожитки — намучились же мы, собирая их потом по лагерю!

— Разбросало по всему Памиру, — сказал Анатолий. И, как всегда, добавил свое любимое:

— Это что, бывает хуже...

Преодолеваю упругое сопротивление воздуха, бегу к палатке. На дворе ниже нуля, вода в бачке покрылась льдом: утром к ней придётся добираться с геологическим молотком. Хотя днём солнце печёт так, что у нас дым от плеч идёт.

Понемногу начинаю привыкать к памирским контрастам. Меня уже не удивляет метель среди лета, когда жара — не продохнёшь, а старательно подметённое небо такое чистое и пустое, что не за что зацепиться глазом. Но вот вдруг (тут все начинается вдруг) из-за ближайшего хребта стремительно вырывается туча, и через какое-то мгновение всё вокруг погружается во тьму. Температура падает ниже нуля, первые порции снега, подхваченные ледяным ветром, беспощадно секут лицо. Быстрее свитер, куртку, капюшон — и в какую-нибудь щель, если не хочешь превратиться в сосульку. Вокруг уже так крутит, что света белого не видно, — сплошная снежная стена, белая смерть, беспощадно дышащая в глаза.

Туча исчезает так же внезапно, как и появилась. Только что всё перемешивалось в диком хаосе, снег валил, как из пропасти, и вдруг покой и тишина. Чистое небо и солнце. Такое ясное и горячее, будто и не завывала только что выюга. А снег, который белеет вокруг... Что снег! Пройдёт десяток минут, и от него следа не останется. Ни струйки, ни капельки влаги: даже не тая, снег испаряется в сухом, как в доменной печи, воздухе...

Заползаю в палатку (тут вроде бы ещё холоднее, чем снаружи, из печки давно уже выдуло последнее тепло), тщательно пристегиваю клапан: останется малосенькая щелочка, и ветрище тут же ворвётся вовнутрь. Стремительно залезаю в постель, в пуховый спальный мешок (а поверх него ещё ватный), ныряю с головой, чтобы выгнать дрожь из тела. Постепенно согревшись, погружаюсь в сон. Но это не тот сон, спокойный и глубокий, который бывает на равнине. Над головой всё время стреляет полотнище палатки, где-то что-то металлически лязгает, стонет и скребётся, а внутри, надувая плотную ткань, гуляет ветер. И главное — не хватает воздуха. Вдыхаю изо всех сил, аж грудь трещит, вдыхаю, но каждый раз хочется вдохнуть ещё больше, ну, если не вдохнуть, то хотя бы глотнуть — кислородная жажда всё время мучает меня, особенно по ночам, когда остаюсь наедине со своим нетренированным телом.

— Адаптация, — объясняет Анатолий. — Это что, это детские забавы! На восьмимысячнике вы и полчаса не выдержали бы: сразу сыграли бы в ящик!

Спасибо за утешение! Мне с головой хватает и этих четырёх тысяч. Четырёх памирских, которые приравнены к пяти на Кавказе, где нет такого, будь он проклят, ветра. С ума можно сойти от него.

Вот так полусплю, полудреmlю всю долгую ночь.

Под утро ветер как будто немного стихает. Можно спокойно заснуть, но дышать ещё труднее: чувствую, как каждая клеточка моего немощного тела вопиет по кислороду. Неужели наступит минута, когда я не буду чувствовать себя рыбиной, брошенной в гибельную для неё стихию?

Совсем светает. Анатолий сладко спит, завернувшись, словно в кокон, в спальный мешок. Виден только облупленный нос и встопорщенная щётка усов: в поле Анатолий принципиально не бреется, обрастая щетиной, словно ёж, и всё на нём начинает торчать: реденькая, как у монгола, борода, усы, торчит во все стороны смолистая непокорная чуприна. Даже брови заодно наёживаются, и под ними задорными огоньками сверкают чёрные уголки глаз. Чёрные глаза, чёрные волосы, почерневшая обветренная кожа, туго натянутая на скулах, — ласковое солнце Украины давно не гостило на нём...

Седьмой час, пора вставать. Высвобождаю одну руку, нащупываю свитер. Вся одежда предусмотрительно сложена рядом, потому что одеваться, если не хочешь окоченеть, нужно по мере того, как выползаешь из “спальника”: сперва свитер, потом пуховая куртка, шерстяная шапка на голову. Затем тёплые лыжные штаны, две пары носков и туристские, на толстой резиновой подошве ботинки. Одеваюсь, как на пожар, чтобы удержаться в теле хоть остатки тепла, и что есть духу — к печке. Тут загады заготовленные дрова, берёзовая кора. Набиваю дровами полную печь, подкладываю кору, беру с десятка спичек, складываю вместе: сквозняк такой, что одной не подожжёшь. Ярко вспыхивают спичечные головки, загорается берёзовая кора, в печке уже гудит, как в преисподней, и если подняться на гору и посмотреть вниз, то можно увидеть огромный язык, вырывающийся из металлической трубы.

Проходит минут десять, и в палатке становится жарко. Печка малиново светится, от неё катятся раскалённые волны. Согревшись, чайник начинает тихонько напевать, точно кот, примостившийся на тёплой лежанке.

— Порядочек! — роняет Анатолий.

Проснувшись, он не лежит ни секунды. Заведённая ещё с вечера пружина вышвыривает его из спального мешка: несколько минут — и он уже одет. Чёрная тенниска, толстый, домашней вязки свитер из верблюжьей шерсти, который побывал на самых высоких вершинах Памира, спортивные брюки, а поверх них — шорты из крепчайшей, как железо, ткани. Таких шорт, скорее напоминающих трусы, у Анатолия не меньше десятка. Впервые увидев Анатолия в этой одежде навыворот (брюки — снизу, а поверх — шорты), я не мог удержаться от смеха, но со временем, когда мои собственные штаны за один день “сгорели” на острых камнях, я уже с завистью поглядывал на эту деталь туалета.

Дольше всего он возится с обувью. Трикони, тяжеленные альпинистские ботинки, мало того, что шиты из воловьей кожи, так ещё и подбиты металлическими шипами. Каждый вечер, готовясь к очередному походу, Анатолий мудрит с ними: вколачивает новые шипы вместо утерянных, заменяет стёртые. Потому что нигде так не снашивается обувь, как в здешних оголённых горах. Сплошные камни, километровые поля острой щебёнки, угрожающе сползающей вниз, как только ступишь на неё (прыгай, не зевай!), головокружительные подъёмы и спуски, где недолго и шею свернуть, — всё это ожидает Анатолия. К тому же есть у него ещё одна причина столь сосредоточенно рассматривать каждый ботинок, прежде чем обуться.

— Порядочек! — наконец говорит он и идёт умываться. Умывается исключительно ледяной водой, чтобы *не баловать лицо*. Аж здесь слышать, как он отфыркивается. Затем залезает назад, энергично вытираясь.

Чайник тем временем вызванивает крышкой, парит, как миниатюрный вулкан. Я не тороплюсь заваривать чай: ожидаю, пока это сделает Анатолий. После того как я однажды заваривал, мне дана отставка.

— Это чай? Это, извините, напиток для младенцев, а не чай! — и вылил заварку на землю.

Он заново залил чайник, закипятил, всыпал полпачки. Дождался, пока тот настоится, налил полную кружку чернющей, как смола, жидкости, вбросил, не жалея, сахара:

— Вот это чаёк! — отхлёбывал, и чёрные глаза его блеснули от наслаждения.

Ежевечерне, частенько до самой полночи мы с Анатолием балуемся памирским чайком: обязательно полпачки заварки на чайник. Выпив одну трёхлитровую посудину, ставим вторую, а бывает, что и третью. Обезвоженный в течение дня организм жадно требует влаги, и, хотя живот уже натянут, как бубен, всё равно хочется пить. “Чай не пьёшь, откуда ж сила?” — вспоминаю казахскую поговорку, которую то и дело произносили геологи в Бекпакидале, прибалхашской пустыне, на пятидесятиградусной жаре, среди солончаков и барханов. Здесь, на Памире, эта поговорка ещё более уместна: безжалостное, почти космическое солнце в вознесенной к небу долине, сухой, словно на углях, ветер, и ни капельки влаги. Тело даже не потеет: жидкость просто испаряется из него, и кожа становится похожа на почерневший пергамент. С грустью смотрю на свои руки, покрытые потресканной кожурой, губы же спасаю от глубоких, до крови, трещин бесцветной губной помадой.

“Чай не пьёшь, откуда ж сила?” Мы пьём кружку за кружкой, орошая пересохшие клетки, блаженствуем по несколько часов, наливаясь до краев водой — нас просто замучила бы мысль, что чайник остался недопитый! — и ничего, спим, как младенцы, потому что тела наши впитывают жидкость, как пересохшая земля, как нагретый песок в пустыне. А если и подхватишься среди ночи, то скорее по привычке, нежели по нужде.

Утром же пьём чай совсем по-иному, чем вечером: по одной только кружке, да и то наспех, — вот-вот позовут на завтрак. Заливаем остальное в баклаги: запас на целый день, до самого вечера. В мою вмещается ровно семьсот пятьдесят граммов, в баклагу Анатолия — литр. Залив водой и закупорив, он прожарил её в костре: баклага стала круглой, как бочонок. Мне же пока достаточно и такой: я в далёкие походы не хожу, я адаптируюсь. Вот уже вторую неделю меня не берут в поле, и я начинаю бунтовать.

— Ещё рано, — неуступчиво отвечает Анатолий. — Вам что, хочется поехать вслед за Виталием?

Виталия я застал уже серьёзно больным. Обыкновеннейшая простуда, на которую внизу, на равнине, никто и внимания не обратил бы, здесь едва не свела человека в могилу: на здешней высоте лёгкие горят, как бумага. Ожидая назавтра машину, которая должна была отвезти его в Мургаб, Виталий окаменело сидел в палатке и тяжело, со стоном дышал. В его потемневших глазах стыло страдание.

Кто-то вспомнил, что жир сурка помогает от простуды, особенно при воспалении лёгких. Был немедленно подстрелен сурок, вытоплен жир — полная кружка, и Виталий вместо ложки или двух (лечиться так лечиться) выдул кружку до дна. Несчастный Виталий! Всю ночь мимо нашей палатки гремел конский топот: в туалет и назад.

В палатке становится душно, восточная стенка начинает ярко светиться: солнце уже поднялось над хребтом. Отставив кружку, Анатолий отгибает клапан палатки, и в то же время над самым ухом звучит пронзительный стон. Я подскакиваю, хотя давно уже должен был бы привыкнуть к этому металлическому звуку. Анатолий сердито выбегает из палатки.

— Мухла! — кричит он. — Сколько нужно напоминать перевесить рейку подальше?

Возле нашей палатки вкопано что-то наподобие виселицы, на ней давно уже висит стальная рейка: достаточно ударить по ней чем-то железным, и она завопит, терзая душу. Сейчас дежурный по кухне Мухла бьёт во всю мочь по билу, созывая людей на завтрак, и молодое лицо его вдохновенно сияет. Каждый раз повторяется одно и то же: Анатолий громко ругается, чтобы перенести это проклятое существо подальше, у меня ещё целый час звенит в голове, но на следующий день я снова вскакиваю от душераздирающего лязга: все дежурные по кухне почему-то убеждены, что истязать рейку следует непременно над ухом начальства.

Наконец, Мухла оставляет билу в покое. Сияя белозубой улыбкой, он приветливо выкрикивает:

— Салам, начальник!

До пояса оголённое тело его будто вылито из бронзы: ни единой складочки жира, сплошные стальные мускулы.

— Что сегодня будешь делать? — спрашивает Анатолий.

— Футбол!

— А может, пойдёшь со мной? — вопрос поставлен в шутку, и Мухла хорошо это понимает.

— Э-э, начальник, лучше футбол! — и водит по земле ногой, показывая, как он будет гонять мяч.

В лице Мухлы мировой футбол теряет если не Пеле, то уж Блохина определённо. По воскресеньям он готов гонять мяч с утра до вечера, а в будни, едва возвратившись с работы, быстренько хватает мяч и выбегает на “поле”. “Поле” начинается за нашей палаткой, по причине малочисленности футбольной команды в нём лишь одни ворота, обозначенные двумя валунами, вокруг же набросано столько камней, что я каждый раз удивляюсь, как эти футболисты до сих пор не остались без ног. Тем более что, жалея обувь, играют они все как один босиком: страшно смотреть, когда они бьют изо всех сил по мячу, застрявшему между камнями.

Футбол в нашем лагере — зрелище для богов. На высоте четырёх тысяч метров, под самыми небесами, мечутся фантастические фигуры. В штормовках и джинсах, в ватных таджикских халатах, в шапках и тибетейках, а то и вовсе лысые, и уж обязательно все босиком. Развешаются полы халатов и правоверные бороды, шелестят брезентовые штормовки, гремят гортанные выкрики. Наголо бритый Мухла гоняет, словно одичавший як, готовый жизнь положить за мяч, он ничего не видит, кроме мяча, и горе тому, кто станет на его пути!

Как-то меня уговорили постоять на воротах: никто не хотел быть вратарём (почему — это я понял через несколько минут). Я стал и стоял, ожидая, когда мяч полетит в мою сторону.

Баллах! Осатанелый клубок футболистов накатился на меня, сбил с ног, подмял, чей-то локоть ударил под рёбра, чья-то затвердевшая, словно, копыто ишака, пятка саданула меня в поясницу. Обезумев от боли, я, в свою очередь, молотил кулаком по чьей-то бритой балдешке. “Мала куча”, наконец, распалась. Задыхаясь, я пытался подняться, и первый, кто подал мне руку, был, конечно же, Мухла: это ему досталось от меня.

— Гол! — провозгласил он, рафинадно сияя зубами. — Давай, становись в ворота!

Но я от этой чести отказался: прихрамывая, со стоном побрёл в палатку — считать синяки. После этого Анатолий каждый раз ехидно интересуется:

— Так как, сыграем в футбол?..

Но хватит воспоминаний: время завтракать. Столовая в противоположном конце лагеря. Вдоль огромной палатки вкопан стол из неструганных досок и две длинные лавки на сорок персон. Тут же, рядом с палаткой, и кухня: халабуда из фанеры, в которой с утра до позднего вечера пылает огромная плита с вмазанным в неё котлом. В том котле изо дня в день булькает, клокочет, дымится одно и то же блюдо: суп с бараниной. Этому супу, кажется, никогда не будет замены: и утром суп, и в обед суп, и на ужин суп. Это единственное блюдо, которое кое-как умеет готовить кухарка, толстая девушка с такими сонными глазами, что кажется, будто она одолжила их у коровы. Её глаза, наверное, ничего не видят: из огромного черпака может вылить тебе суп прямо на живот, если ты своевременно не успеешь подставить тарелку.

Летаргическое состояние покидает кухарку лишь тогда, когда появляется Жёня — молоденький геолог. Движения её становятся резкими и порывистыми, глаза сразу же проясняются. В Женину миску наливается столько супа, что им хватило бы накормить пятерых. Жёня сердится, но это не мешает кухарке напирать на него грудью, раскалённой на любовном костре.

Кухарка эта — проклятие нашего лагеря. Везли её из Душанбе, как самую большую драгоценность: тот, кто по полгода живёт в поле, знает, что такое хороший, опытный повар. Наша же имела даже диплом, он-то больше всего и привлёк Анатолия. Чего он до сих пор не может себе простить. Но уже поздно: найти повара в радиусе тысячи километров от лагеря —

дело невозможное. Видели, как говорится, очи, что покупали... И мы должны хлебать этот осточертевший суп изо дня в день, из месяца в месяц. Кухарку все тихо ненавидят, постепенно назревает бунт, особенно среди рабочих: еда для них — не последнее, попробуй помахать целый день на высоте пять тысяч метров кайлом или лопатой, а тут только суп и баранина.

— Шайтан! — ругается, воюя с мясом, Мухла. — Ты свинья, да? — и швыряет костью в кухарку.

— Мухла, прекрати! — кричит Анатолий.

Но Мухла разошёлся не на шутку: ругается по-таджикски, а потом переходит на русский — тут больше простора его святому возмущению.

— Я кому сказал!

Ругань становится ещё отборнее: Мухла объясняет, куда бы он послал кухарку, если бы его власть и воля.

— Выйди вон! — взрывается Анатолий. — И можешь собирать свои вещи: ты больше здесь не работаешь!

В мрачном молчании заканчиваем завтрак, даже чай на этот раз не пьется. Анатолий оставляет недопитую кружку, выходит из-за стола. Я иду следом.

— Зачем вы так?

Мне жалко Мухлу. Не могу себе представить без него наш лагерь: без его белозубой улыбки, приветливых, доверчиво открытых глаз. Припоминаю, как рассказывал он об огромной змее, едва не укусившей его... “Ядовитая, Мухла? — Вах, очень ядовитый!.. Забыл, как её фамилия. — Чья фамилия? Гадюка? Гюрза?” — спросил я, смеясь. “Гюрза, только черный”. Он всегда охотно брался всем помогать, и мы частенько этим злоупотребляли. “Мухла!.. Где Мухла? Позовите-ка Мухлу!..”

И его среди нас не будет...

— Вы же сами говорили, что Мухла — самый лучший рабочий.

Это уже с моей стороны нечестно: удар ниже пояса. Лицо Анатолия мгновенно каменеет. Он быстро снаряжает рюкзак и выходит из палатки, даже не посмотрев в мою сторону.

Я, не менее мрачный (чёрт меня дёрнул за язык!), тоже начинаю снаряжать маленький рюкзак: баклага с чаем, кусок хлеба, кубиков десять рафинада — полдник и обед. Штормовка и свитер, без которых не обходится ни один поход: мой путь пролегает вниз по долине, за четыре километра отсюда, к гранатовой горе. Имею задание от Анатолия: насобирать пробный мешочек гранатов.

— Попробуем дать на огранку. Женское украшение — первый сорт.

У Анатолия всё, что разведано в урочище Зор-Бурулюк, не ниже первого сорта. У него нет никакого сомнения, что все горы вокруг нашпигованы драгоценными камнями, достаточно только копнуть как следует. Зор-Бурулюк для него звучит, как музыка, как самая прелестная песня.

— Мы ещё себя покажем! — часто говорит он, влюблённо глядя на горные хребты. — Придете годика через три-четыре — не то здесь увидите.

— А что? — интересуюсь я.

— Нагоним технику, пророем дороги, тогда мы самоцветами не одну фабрику завалим.

И мне иногда кажется, что он видит их насквозь. А чем же тогда можно объяснить, как он нашёл жилу, в которой залегают золотистые топазы?

Когда он достал из металлической коробки золотистый топаз, мне сперва показалось, что я брежу. До сих пор я видел топазы прозрачные, как родниковая вода. Топазы голубые, словно весеннее чистое небо. Топазы благородного коричневого цвета. Огранённые, они солнечно сверкают и в то же время холодны, как лед. Не нагреваются даже в самые жаркие дни.

Но золотистого цвета! Золото самой высокой пробы и одновременно прозрачное, как самый чистый хрусталь. Это было что-то нереальное, что-то на грани фантастики.

— Представляете, как они засверкали в своём гнезде? Мы чуть не ослепли!

Можно было и в самом деле ослепнуть. Тут глаза от одного начинают болеть.

Так вот. На том месте, где залегали топазы, копались не один десяток геологов. Асы, зубры геологического поиска. И ничегошеньки не находили. Пока один из шофёров случайно не наткнулся на золотистый обломок. Можно себе представить, какой ажиотаж поднялся в отряде: топаз неслыханного золотистого цвета! Кандидат наук (пожалев, не будем называть его фамилии), находившийся как раз в отряде, порекомендовал бить канавы значительно выше, почти на середине горы. Анатолий стал возражать: был убеждён, что в сланцах топазов нет.

— Ты что? — сказал ему Абос, подрывник. — Он кандидат, а ты кто? Заложили взрывчатку, рванули. Расчистили — пусто.

— Нужно искать ещё выше, — сказал кандидат. — Топаз явно скатился с горы, — сказал и уехал домой: кончалась командировка.

Анатолий же облазил эту гору сверху донизу, обнюхал каждый сантиметр. И наткнулся на гранитное тело, пронизанное пегматитами, залегающими снизу. Ходил по высыпке, подбирал чёрные, как антрацит, морионы, полевые шпаты, и все ему казалось, что топазы шевелятся в глубине под ногами. Под личную ответственность уговорил начальство заложить крестоподобную канаву. И с первого же взрыва, после того как выгребли раздроблённую породу, открылась полость или “погреб” — голубая мечта каждого искателя драгоценного камня. Дрожащими руками доставал Анатолий кристаллы за кристаллом золотистые топазы.

У кандидата наук челюсть отвисла, когда Анатолий уже в Душанбе рассказывал, где он взял кристаллы...

— Но ведь могло ничего и не быть?

— Могло... Только вот он, кристаллик! — золотые вспышки отражаются в глазах Анатолия. — Ювелиры будут довольны — женские украшения высочайшей пробы!..

Вот и я иду за будущими женскими украшениями.

По-летнему печёт солнце, тонко вывистывает ветер. Он сейчас совсем не злой, даже мог бы быть приятным, если бы не бросал в лицо песок. Сворачиваю с дороги выше, где растёт реденькая травка. Иду, жадно вбирая в лёгкие на редкость чистый воздух, почти не задыхаясь. И это уже немало-важное достижение, я всё-таки адаптируюсь: две недели назад я полз бы здесь на карачках. Нет, жить тут можно, если бы не проклятые ночи... Но хватит об этом, где там ещё та ночь: впереди целый день...

Вздрагиваю от разбойничьего свиста. Чёртов сурок, подстергёт всё-таки!

До сих пор не могу привыкнуть к этому внезапному свисту. Первый раз, когда так свистнуло, я долго вертелся на месте, пытаюсь разглядеть памирского соловья-разбойника, решившего таким образом со мной познакомиться. Но вокруг не было ни одной живой души, только какие-то тёмненькие столбики торчали метрах в ста впереди. Я шагнул вперёд, и снова уши заложило от разбойничьего свиста. А столбики вмиг исчезли. Только что были — и ни единого! Остались только бугорки с аккуратными отверстиями, ведущими в подземелье.

Так я познакомился с памирскими сурками. Животными чертовски наблюдательными и к тому же страшно любопытными. Их интересовало всё, что происходило в радиусе двухсот метров вокруг. Как-то я подкрадывался к зайцу. Заяц сидел, как нарисованный, погружённый в какую-то свою замятую думу, и поэтому не заметил охотника, который полз по расклеванной тверди, волоча за собой здоровенное ружьё. Все колочки, встречавшиеся на моём пути, впивались в тело, все камни и обломки, и я обязан был убить зайца хотя бы за все те муки, на которые он меня обрёл. Заяц же сидел, даже не подозревая о своём неотвратимом конце, а рядом, метрах в тридцати, замер здоровенный сурок. Он аж голову втянул, чтобы ничего не прозевать. И когда я, наконец, дополз и прицелился, он восторженно свистнул.

Заяц исчез, словно привидение; мушка моего ружья закачалась на фоне чистого неба. В ярости я повернул ружьё на сурка: ещё один свист, теперь уже насмешливый, и дьявольское создание молниеносно нырнуло под землю. А вообще это милые и приятные существа, которые очень скрашивают нашу пустынную долину. Сидя на двух задних лапах возле своих нор, они напо-

минают профессоров, обременённых знаниями и немалым чувством собственного достоинства. Или философов, пытающихся разгадать тайну бытия всего сущего. Но вот раздаётся тревожный свист — и происходит мгновенная метаморфоза: теперь это уже располневшие киевские дамочки, в часы пик штурмующие метро.

Сурков можно было бы назвать ещё и помощниками геологов: возле каждой норы — гора свежего грунта. Подходи и изучай, какие породы залегают на глубине доброго десятка метров. Именно так посреди нашей долины был обнаружен амазонит чудесного бирюзового цвета. Я как раз прохожу мимо голубой горы, извлечённой уже рабочими нашей партии.

Так что на месте Министерства геологии я бы обязательно зачислил этих трудолюбивых существ в штат геологов с соответствующими ставками и снабжением. Подумать только, как им приходится трудиться, чтобы запастись жиром на суровую памирскую зиму!

Уже рукой подать до гранатовой горы. Охваченная малиновым огнём, она вырастает прямо на глазах. Тысячелетиями разрушалась порода, и из неё выщипывались миллионы кристаллов, огненной рекой стекая вниз.

Сбрасываю рюкзак, прилаживаю под нависшую глыбу, в тень. В случае чего здесь можно спрятаться и самому. Беру пробный мешочек, начинаю собирать кристаллы. Нагретые солнцем кристаллы излучают тепло. Подношу особенно крупные и совершенные к глазу, и горячий малиновый цвет переливается в меня. Кристалл кажется бездонным, в нём есть что-то магическое, нечто от таинственных подземных глубин. Собираю и собираю, забыв обо всём на свете. Время остановилось, всё отдалилось, исчезло, остались только гранаты, множество гранатов, миллионы, миллиарды гранатов, рассыпанных по серебристой породе. Не выдержал, лизнул ее языком — полчаса плевался: было такое ощущение, будто набрал полный рот негашёной извести.

Устав наклоняться раз за разом, становлюсь на колени. А через некоторое время, напав на особенно богатую россыпь, ложусь на живот. Вот так, лежа на животе, и выклёвываю кристалл за кристаллом. Начинает припекать по-настоящему. В глазах расплывается и мигает. Смежаю воспалённые веки: слепящие малиновые круги наплывают из темноты. Нужно отдохнуть, а то недолго и ослепнуть.

Который час сейчас? Половина одиннадцатого. Собираю всего лишь час, а кажется, что прошло Бог весть сколько времени. Беру мешок, заползаю под глыбу, в тень. Ложусь на спину, подложив под голову рюкзак. Хорошо! Распаренное тело жадно вбирает прохладу, глаза отдыхают в бездонном небе. Оно не голубое сейчас, а синее, и одиночные белые облака лёгким пухом зависают на горизонте.

Двенадцатый час. Замираю, ожидая взрывов, но тут же вспоминаю, что взрывов не будет: сегодня же воскресенье. Абос сидит, наверное, над десятой кружкой чая и почтительно разговаривает с муллой. Все наши таджики, в том числе и Абос, из одного кишлака, расположенного высоко в горах, и мулла пришёл в отряд вместе с ними: то ли оберегать свою паству от мирских искушений, то ли самому мулле деньги понадобились, во всяком случае, работает он как проклятый. И каждый раз, как только начинается футбол, он приходит к нашей палатке. Чинно здоровается, пожимая нам по очереди руки, а мы с Анатолием почтительно уступаем место: как-никак духовная особа. Мулла важно усаживается, распушив поверх ватного халата серебристую свою бороду, начинает перебирать чёрные эбонитовые чётки. И чем напряжённее становится игра, тем быстрее двигаются чётки. А в глазах загораются уже совсем не божественные огоньки.

Гол! Мулла срывается и что-то гневно кричит. Потом, спохватившись, садится и снова начинает шептать молитвы...

Так что, возможно, они как раз сейчас пьют чай и решают, что делать с Мухлой.

Мне жалко Мухлу. Неужели наш лагерь останется без него?..

Не заметил, как задремал. Проснулся оттого, что замёрз: холодная струя воздуха дует откуда-то из-под глыбы, не хватало ещё простудиться. Ящером выползаю на солнце и попадаю в поток огня. Ветер почти утих, вокруг



необычайная тишина, воздух сухой и горячий. Нещадно печёт сверху, малиново горит под ногами, вспыхивая миллионами искр. Хочется пить, и я достаю из рюкзака баклагу.

Чай, сахар, полкраюхи хлеба — весь мой обед. Аппетита нет, хотя после завтрака прошло уже почти пять часов, если можно назвать завтраком три—пять ложек супа и кусок плохо сваренного мяса. Анатолий объясняет это низким содержанием кислорода в воздухе, а отсюда — замедленным обменом веществ в организме. За эти две недели я стал худым, как гончая, и всё время поддергиваю штаны, которые держатся на честном слове. Боюсь, что это станет привычкой, и несчастной моей жене, полжизни уже воюющей с моими плохими привычками, которые почему-то цепляются ко мне, придётся вступить в бой ещё с одной. Но странно: не чувствую никакой слабости. Наоборот, каждый день адаптации прибавляет мне сил, и я уже в состоянии пройти, не умерев, пять километров. Не было даже волдырей, в позапрошлом году густо обсыпавших всё моё тело и вызывавших ужасный зуд. Я тогда думал, что сойду с ума, кто-то предложил раздеть меня догола и закатать на всю ночь в плотную кошму, — дескать, обязательно поможет, но я своевременно вспомнил, что Чингисхан именно таким способом душил самых прославленных своих противников (почётная смерть, без кровопролития), и категорически отказался. К счастью, на следующее утро мы покинули высокогорную долину, спустившись на пятьсот метров вниз, и волдыри мои исчезли...

Пообедав, я снова принимаюсь собирать кристаллы. Пробный мешок ощутимо потяжелел, кристаллы в нём шевелятся, словно живые, пересыпаются с приятным шорохом.

К вечеру возвращаюсь домой. Болит поясница, болит каждая мышца, четыре километра, которые я прошёл утром, почти не заметив, растянулись теперь на добрый десяток, и если бы не гранаты в рюкзаке за спиной, я вряд ли дошёл бы. Да ещё ветер, нетерпеливо толкавший в спину. Поворот... Ещё один поворот... Цистерна с горючим — левее... Огороженная халабуда правее — под взрывчатку... И, наконец, открывается лагерь.

В один длинный ряд вдоль высохшего русла (вода в нём бывает только весной) выстроились палатки. Между ними пестреет бельё: рубашки, майки, трусы и подштанники, лишь возле одной стыдливо прячутся женские блузки, трусики и лифчики. Там живут кухарка и Соня. Соня — геолог, ей Анатолий доверил собирать из “погребов” скаполиты — удивительные кристаллы густо-фиолетового и янтарного, а иногда и нежно-розового цветов. Соня приносит их ежедневно в маленьких мешочках, они с Анатолием старательно их сортируют: ювелирные — в одну кучу, коллекционные — в другую. Анатолий говорит, что кристаллы эти, если их огранить, не уступят игрой бриллиантам. Соня же больше молчит, а если и произнесёт что-нибудь, то вроде даже нехотя. Она не по годам серьёзна, эта девушка, я никогда не видел, чтобы она смеялась, — улыбнётся едва заметно и тут же пригасит свою улыбку. Возможно, она, единственная женщина в лагере (кухарка в счёт не идёт), прибегает к столь крайней серьёзности как к своеобразной защите от порой нескромных взглядов мужской половины нашего лагеря, особенно молодой, которая так истоскуется в эти несколько месяцев по женской ласке, что хоть на цепь привязывай. А может, такой уж у неё характер, только я иногда ловлю себя на мысли, что Соня будет кому-то не просто верной женой (в Таджикистане этим никого не удивишь), а и надёжным, до последнего вздоха другом.

Над кухней вьётся густой дым, оторвавшись от трубы, он стелется по земле, и кажется, что кухня мчится мне навстречу. Выше, около толстых берёзовых и сосновых колод, хлопочет народ с пилками и топорами: заготавливают каждый для своей палатки на вечер и утро дрова. Эти колоды долгое время были для меня одной из самых больших загадок: ведь вокруг на сотни километров не то что древесины — жалкого кустика не найдёшь, а тут — целые колоды! Они не раз выручали геологов. Но где их достают — это, очевидно, самая большая государственная тайна.

Возле своей палатки встречаю несколько старших таджиков: возвращаются с вечернего намаза. Каждый вечер после работы, зажав под мышками молитвенные коврики, направляются они подальше от любопытных глаз, чтобы остаться наедине с Аллахом. Тут на четыре километра ближе к Богу, нежели на равнине, поэтому нет никакого сомнения, что каждая молитва будет услышана, выслушана с надлежащим вниманием и пройдёт небесную канцелярию без лишней волокиты: удовлетворить просьбу Муссы и послать ему десяток сыновей, а каждый баран Ахмета пусть нагуляет пудовый курдюк... Очищенные молитвами, они идут, торжественные, как мусульманские апостолы, а впереди выступает мулла и, погружённый в молитву, притворяется, что не замечает моей скромной персоны.

Я несколько не обижаюсь, я даже им завидую, ведь каждого из них ожидает мусульманский рай, где вечно цветут розы и лежат горы щербета, где семь гурий — по числу дней в неделе, — прекрасных, как мечта, чистых, как утренняя заря, по очереди будут сидеть на их правозверных коленях. Не стать ли и мне правозверным? И вымолить у щедрого мусульманского бога хоть одну-единственную гурию — авансом, не дожидаясь далёкого рая. Несколько уютнее стало бы в нашей холостяцкой палатке!

О, Аллах ибн Аллах!.. Не успели зайти в палатку и рассупониться, как следом заскочил новопечённый (в прошлом году) геолог Коля. Запыхался так, словно гнался за мной от самой гранатовой горы.

— Анатолий Михайлович ещё не пришёл?

— Как видите... Он вам очень нужен?

— Да нет... — оглянулся, словно хотел убедиться, что никто не подслушивает, таинственно наклонил ко мне лицо: — Таджики собираются домой.

— Как?!

— Все до одного. Кроме Абоса. Вместе с Мухлой.

Вот так новость! Представляю, что будет, если все рабочие покинут лагерь. Тут не повесишь объявление: “Нужны разнорабочие”. Сбегутся разве что сурки.

Коля всё ещё трётся-миётся. На молодое лицо его наплывает нерешительность.

— Ещё какая-то новость? Говори — добивай!

— Ребята жарят блины... Так что приглашаем.

Блины! Это как раз то, чего мне не хватает для успокоения.

— Сейчас бегу. Только умоюсь.

Проблема с рабочими вмиг отошла на задний план. Да и не мне её решать. От того, что я не пойду есть блины, ничего не изменится. Успокоив таким манером свою податливую совесть, быстренько умываюсь и иду в соседнюю палатку.

Тут живут четыре геолога: Коля, Ахмат, Рафик и Жёня. Все ровесники, вместе защитили дипломы и вместе пришли в партию. Каждую неделю, пусть хоть горы завалятся, у них традиционные блины. Из пшеничной муки, на масле яков. Масло желтющее, твёрдое и сладкое на вкус. И такое калорийное, что больше ложки не съешь. Достают его ребята у пастухов, гоняющих по соседним долинам огромные табуны.

Жёня, или Евгений, бросился мне в глаза своими пшеничными усиками: завёл их, должно быть, сразу же после защиты диплома — для солидности. Он их носит, как носят только что надетую обнору, не забывая о ней ни на минуту. Поглаживает, подёргивает, пощипывает то левой, то правой рукой. Лицо его от этого не стало взрослее, юность продолжает цвести на нём всеми своими привлекательными красками, и я уже в который раз удивляюсь, почему мы так охотно, не оглянувшись даже, спешим расстаться с этой самой светлой порой жизни.

Ах, Жёня, Жёня, если бы ты знал, что тебя ждёт впереди, побрил бы свои недозревшие усики и не хмурился бы так серьёзно и строго.

Блины, как всегда, печёт Рафик, он в этом деле непревзойдённый мастер. Красивое татарское лицо его сосредоточенно и озабоченно, пот мелким бисером усеял смуглый лоб. Рафик манипулирует огромной сковородкой, как жонглер: взмах руки — и на сковородку выливается ложка теста, ещё один

взмах — и тесто растекается тоненькой плёнкой; теперь — на печку, по которой искры так и скачут, потом ещё один взмах — и румяный, пахучий блин, не толще папиросной бумаги, ложится на тарелку поверх других блинов. Ахмат разбалтывает в большой кастрюле жидкое тесто, а Жёня следит за ведёрным чайником. За столом, стоящим посредине, ещё одна гостья, их однокуреница Соня. Ради такого события она, освободившись от своей ежедневной робы и тяжёлых ботинок, нарядилась в лёгкое цветное платье и модельные туфельки на высоких шпильках. Я смотрю на эти туфельки, как на седьмое чудо света, такие они неожиданные в нашем геологическом быту. Соня же, делая вид, будто не замечает, какое впечатление произвела её модельная обувь, кончиками пальцев берёт очередной блинчик и осторожно макает его в растопленное масло. Ест она аккуратно, как кошка. И очень похожа на строгую учительницу, которая пришла проверять знания своих учеников. Коля подставляет свободный стул, приглашает к столу. Его ясное лицо светится гостеприимной предупредительностью.

— Попробуйте наши блины, — говорит он скромно. — Жёня, давай сюда чай.

И вот передо мной литровая кружка чая и миска блинов.

С чем сравнить этот ароматный сладкий напиток, который не пробовали даже олимпийские боги? Впрочем, древнегреческие небожители обитали значительно ниже и не ходили ежедневно в маршруты. А блины! Каждый блин, обмакнутый в масло, тает во рту, заливаясь чаем. Это последний, говорю себе снова и снова, а рука тянется за очередным блином. “Да имей же совесть, не объедай этих детей!” — и ничего не могу с собой поделать.

Пресыщенный, налитый до краёв чаем, покидаю гостеприимных хозяев. Там уже дребезжат струны гитары, звучит приятный тенор Ахмата: он исполняет свою любимую песенку о такой же юной, как сам, маркитантке:

*Пулю пробита крышка котелка,  
Маркитантка юная убита...*

Следовало бы загрустить под эту трогательную мелодию, но блины и меланхолия несовместимы. Мир прекрасен, даже на высоте четыре тысячи двести, даже с ветром, начинающим завывать всё сильнее. Солнце уже село за горы, фиолетовые тени покрыли долину. Они густеют, становятся всё холоднее. Скорее в палатку, пока совсем не выдуло оттуда остатки дневного тепла. Немедленно растапливаю печь, блиноед несчастный и обпивайло доверчивых аборигенов геологического племени!..

Только что мёртвая печка оживает, уютно потрескивает, начинает всё больше струиться теплом. Ложусь на койку поверх спальных мешков и, полусонный, наблюдаю, как по двигающимся стенкам палатки весело бегают огненные зайчики. А тут ещё чайник начинает напевать свою мурлыкающую песенку, тихонько позванивая крышкой, — музыка, которую я не променял бы ни на какую в мире! Я и не заметил, как заснул.

Проснулся от холода. Вскочил, бросился к печке. Дрова прогорели, тлет только жалкая кучка углей. Быстренько вбрасываю берёзовую кору, она чернеет на глазах, свёртываясь, вспыхивает ярко и горячо, облизывая чёрные стенки смолистым густым дымом. Кладу сверху дрова. Через некоторое время тепло снова наполняет брезентовое мое жилище, и слышится мурлыканье чайника, но я уже не ложусь: до сих пор нет Анатолия. Тревожные мысли лезут в голову — мало ли что может случиться в пути! Сорвался со скалы, сломал ногу... Не выдерживаю, надеваю штормовку, выхожу наружу.

В лицо бьёт чёрный ветер, в чёрном небе стыннут звёзды. Всё потонуло в сумраке, узкая долина как бы сжалась, и мне начинает казаться, что до хребтов можно достать рукой. Неуютно, жутко, словно на какой-то вражеской планете, за тысячами парсеков от родного Солнца, а каково ему, одинокому, затерявшемуся среди обрывов и скал! Тревога всё больше сжимает моё сердце, я уже готов поднять весь лагерь. Одна только мысль, что это ведь не кто-нибудь — Анатолий, что это у него не впервые, заставляет меня вернуться в палатку.

Сижку и прислушиваюсь к малейшему шороху: всё кажется, что идёт Анатолий.

— Не помешаю?

Чёрт! Сатанище неумытое!

— Где это вы пропадали?

Готов его сейчас обнять.

Он молча подходит к постели, тяжело сбрасывает рюкзак. Усталость осела на нём, как пыль, даже лицо покрылось серой плёнкой, а запечённые губы стянулись в шнурочек. Отмахал, наверное, не один десяток километров, а каждый памирский километр не сравнить с теми, что на равнине.

— Я уже и не думал, что вы придёте!

— Да ну?.. Этого быть не может!

Ещё хватает сил шутить! Я на его месте замертво упал бы на койку.

— Как наш чаёк?

Господи, что ж это я себе думаю! Человек умирает от жажды, а я лезу с упрёками.

Схватил кружку, наполнил, оставив место для сахара, достал из тяжелой коробки твёрдое, как камень, печенье. Печенье это покупали в Мургабе: завезли его, вероятно, ещё до войны, да так и лежало, ожидая геологов. Эти всё перемелют.

Жадно опорожнил кружку, уже сам налил вторую. Лицо понемногу оттаивало, избавляясь от серости. И уже после второй кружки сидел передо мной привычный Анатолий: щетинистый, насмешливый. Чернющая чуприна торчит во все стороны, словно намагниченная, реденькая бородка, как щётка.

— Так, говорите, мог заблудиться?.. За это стоит выпить по третьей.

Наполнил ещё раз, налил и мне. И уже после третьей вздохнул удовлетворённо:

— Порядок!.. Вот теперь можно и почаёвничать по-человечески.

И мы чаёвничали до полуночи.

— Обследовали одну чрезвычайно интересную горку, — начал он после энной кружки. — Давно она мозолила мне глаз, да всё не доходили руки.

— Что-то нашли?

— Если бы каждый день что-то находили, многоуважаемый Анатолий Андреевич, то давно б уже прикрыли нашу контору. За один сезон на сто лет наоткрывали бы.

— А всё же?

— А всё же многообещающая горка. Есть смысл по ней как следует топтаться. Пошло туда на какую-нибудь недельку ребят, пусть ходят, обнюхают. Чует моё сердце, что она не пустая. Там такая пегматитовая жила — целовать хочется! Вы когда именинник?

— Уже отбыл.

— Жаль. Ну, хорошо, будем считать, что у вас сегодня ещё одни именины, — он уже роется в рюкзаке. — Держите для своей коллекции!

То, что он мне подаёт, — чёрное, как смола. И тяжёлое, как чугун. Килограммовый кусок, величиной в два кулака.

— Мумиё?!

Жадно нюхаю: пахнет прополисом, живицей, хвоей. И ещё чем-то, таинственно волнующим. Я давно мечтал увидеть природное мумиё — этот могучий регулятор обмена веществ в организме, пользуюсь им пятый год и забыл, что такое ревматизм и ангины, а до того болел чуть ли не каждый месяц.

— Где нашли?

— Ещё на одной горке, — таинственно улыбается Анатолий. — В симпатичной пещере. Слава Богу, туда не так-то легко добраться. А то давно уже выбрали бы. Стенка метров на шестьдесят, а в ней — отверстие. И вот такая узенькая полочка. Как раз для лунатиков.

Я не лунатик, поэтому сразу же прощаюсь с мыслью побывать в этой пещере. Уже знаю, как умеет лазать Анатолий: мурашки по спине начинают бегать, когда смотришь, как он, цепляясь за невидимые выступы, поднимается на отвесную скалу. Однажды попробовал было и я, но сразу же завис: ни туда, ни сюда. “Приземлился” — руки-ноги дрожали.

— Всё забрали? — допытываюсь.

— Всё невозможно в один раз забрать. Там его несколько десятков килограммов. Сплошная стенка. Хватит не на одну аптеку.

— Почти чистое, — люблюсь, поднеся к свету. Керосиновая лампа кладёт на драгоценную находку маслянистый свет. Мумиё кажется живой субстанцией, добытой из древнейших глубин. Не случайно ведь древние персы молились на него, считая мумиё стувившейся кровью богов.

— Что ж, пора и на боковую, — поднимается Анатолий из-за стола.

И тут я вспоминаю о таджиках.

— Что же вы сразу не сказали? — сердито спрашивает он. Надевает толстый свитер и с непокрытой головой выходит из палатки.

Я же на всякий случай наполняю водой чайник, ставлю на печку. Подкладываю дрова, выбирая потолок, чтобы дольше горело, раздеваюсь, залезаю в спальный мешок, кладу возле лица мумиё. Мне кажется, что когда оно рядом, то вроде дышать легче. Лежу, ожидая Анатолия, и у меня такое чувство, будто я в этой палатке провёл не две недели, а много лет. Тот мир, который я недавно оставил, с его машинами, улицами, домами, магазинами, с постоянной суетой и толкотнёй, с вечной спешкой и вечной нехваткой времени, отсюда, с расстояния во много тысяч километров, кажется таким неестественным и искажённым, что хочется иногда спросить: а существует ли он на самом деле? Но вот выплывают родные лица, и я уже начинаю тосковать по ним, и мне уже кажется, что там осталось самое существенное, без чего вообще невозможна жизнь. Странное создание — человек!

Анатолий возвратился далеко за полночь. Я уже успел заснуть и несколько раз проснуться, а его всё не было; но вот громко скрипнула койка, на мои веки навалилась темнота.

— Ну, как?

Долго нет ответа — только шуршанье спального мешка.

— Порядок, — ответил неохотно.

Я хотел ещё спросить о Мухле, но не решился. Хорошо, утром узнаю, уже недолго. А теперь — спать, спать... Тесное гнёздышко моё, тёплое и уютное, и так сладко спалось бы, если бы хватало воздуха... Настанет ли время, когда я вволю надышусь?..

— Вы, уважаемый, кажется, заспались?

Анатолий! Когда он успел подняться? В печке весело потрескивают дрова, горячие волны плывут по нашей парусиновой хатёнке.

— Чай готов, маэстро.

Анатолий уже одет, обут. Вспоминаю, что сегодня у него радиосвязь. Перед завтраком.

— Готовьтесь штурмовать Тау-Мику, — говорит он, идя к выходу.

Тау-Мику? Сегодня?

Обожжённый радостным возбуждением, вылетаю из постели.

Тау-Мику! Венец моих турмалиновых мечтаний!

— Не сегодня, — охлаждает меня Анатолий. — Сегодня подниметесь на скаполитовую горку.

Что ж, и на том спасибо. Скаполитовая “горка” возвышается прямо перед лагерем. Вверху, венчая перевал, торчат плоские скалы. Как у гигантского динозавра. Под тем гребнем ровно в двенадцать поднимаются бурные султаны. Содрогается земля, серия взрывов колышет долину: работа Абоса. Ежедневно он поднимается в горы. Левый нагрудный карман оттопыривают капсулы-детонаторы. Не хочется даже думать, что может произойти, если Абос споткнётся и вместе со всеми этими капсулами упадёт на камни. Но ничего не подделаешь: как Анатолий ни отчитывает его, Абос всё равно упрямо набивает карманы детонаторами.

— Э-э... На то воля Аллаха, — и любовно поглаживает оттопыренный карман.

За Абосом тянется целая процессия со взрывчаткой в красных пакетах. Немного необычно видеть и муллу с дьявольской начинкой за святыми плечами. Что же делать, хлеб даром не даётся даже мулле.

Соня поднимается вверх немного позднее. Идёт легко и свободно, словно пританцовывает. Только у прирождённых горянок такая гордая и грациозная походка.

Я же ползу слизняком. Шестьсот сорок метров... Всего шестьсот сорок... Ребёнку пробежать — раз плюнуть! Если б только они, эти проклятые метры, да не стояли торчком!

Ноги — точно гири пудовые, лёгкие словно забиты горячей ватой. На ней мгновенно сгорает тот жалкий глоток кислорода, который вбирает из разреженного воздуха мой жадно раскрытый рот. Каждая клеточка моего мощного тела вопиет по кислороду... задыхается без кислорода... И я, сделав десяток-другой шагов, бессильно ложусь на щебень. С отчаянием смотрю на гребень, который всё отдаляется. Мне уже не верится, что я когда-нибудь смогу к нему доползти. На миг появляется мысль: а зачем? Зачем эти муки? Что заставляет меня карабкаться на эту проклятую гору? Я не геолог, не рабочий, я свободный человек, хочу — иду, хочу — не иду, так не лучше ли повернуть, пока не поздно, назад? Но какая-то сила толкает меня всё выше и выше, заставляет переставлять ватные ноги, цепляться за выступы скал. Что-то, что сильнее усталости, боли, отчаяния.

И я постепенно наполняюсь злостью на себя. На своё такое неуклюжее, нетренированное тело. “Врёшь, дойдёшь! Ну-ка, поднимайся, лентяй несчастный!”

Гребень появился так неожиданно, что я сперва не поверил: неужели дополз? А когда поверил, когда прильнул спиной к каменной стене, когда посмотрел вниз в долину, на игрушечные отсюда палаточки и тонкую нитку сухого русла, когда вобрал взглядом ближние и дальние хребты, купавшиеся в неправдоподобно густой синеве, а ветер, совершенно другой, нежели там, внизу, без пыли и песка, чистый горный ветер дохнул в лицо, остудив распаренную грудь, и белое-пребелое облачко неожиданно вынырнуло рядом и удивлённо застыло, мягко коснувшись глаз; когда я подумал, что на этой горе уже ничего нет выше меня, — я выше всех, вверху только небо, захочу — и до него достану; когда всё это я почувствовал, тогда все мои муки, вся моя усталость уже ничего не стоили против этого блаженного мига!

Вот он я, взбрался, дошёл, доказав, что ещё чего-то стою!

Эй, вы, там, внизу, мелкие букашки, прикованные земным притяжением! Хоть откликнитесь, если не можете подняться ко мне!

Откликнулся Абос. Содрогнулась земля, зашаталась скала, рванул воздух — перед глазами взлетели камни. Не успел упасть, забиться в щель, как ударило снова и снова. Абос решил, наверное, поднять в воздух всю гору. Я прижимался к скале, со страхом глядя на камни, дождём сыпавшиеся невдалеке от меня. Угостит таким камушком, и уже не уйдёшь — снесут.

Переждав, пока отгремели взрывы и осела рыжая пыль, спускаюсь вниз. Беру немного правее, за скалы, которые защитили меня от камнепада.

Глубокий ров подрезал склон горы. Там уже кипит работа — оголенные до пояса таджики выбрасывают породу. Тут я впервые увидел прославленный “таджикский экскаватор” — мудрую выдумку народа, который издавна живёт и трудится в горах. К большой совковой лопате привязана верёвка. Двое держат эту верёвку за оба конца, третий загоняет лопату в грунт. Взмах руки, верёвка натягивается, лопата взлетает вверх, грунт выбрасывается далеко вперёд. Вверх-вниз, вверх-вниз — зарядка, от которой за несколько минут глаза на лоб лезут! А они хоть бы что, они вроде забавляются, вымахивают с утра до вечера, изо дня в день, из месяца в месяц. Ещё и улыбаются мне навстречу. И самая приятная, самая ослепительная улыбка Мухлы.

— Мухла, будет сегодня футбол?

Смеётся, кивает головой, что будет.

И я себе обещаю, что стану в ворота. Хотя бы пришлось потом лечь костями.

Сим торжественно свидетельствую: самые красивые девушки в Таджикистане.

И не просто в Таджикистане, а на Памире, на высокогорных долинах, где над буйной зеленью величественно поднимаются покрытые вечным снегом

вершины, где небо всегда голубое и синее, а до звёзд можно дотянуться рукой; где гремят хрустально-чистые потоки, где воздух такой, что хочется его не вдыхать, а пить, смакуя каждый глоток. В таких долинах не могут не родиться самые красивые в мире девушки.

Голубые глаза, блестящие, с капризным изгибом брови, сияющие зубы и пышная коса, гордая осанка и благородной смуглости кожа... Где вы, художники, авторы будущих полотен, перед которыми благоговейно замирали бы последующие поколения? А может, это к лучшему, что вас тут нет: в отчаянии выбрасывали бы вы свои серые, как смертная тоска, полотна. И, навек ослепнув, уже ничего больше не видели бы...

— Остановите! — закричали мы в один голос.

Водитель наш, Гирштейн, с испугу подумал, что кто-то на ходу выпал из машины, и затормозил так, что колеса окутались дымом.

— Сдайте назад... Ещё сдайте... Ещё... А теперь все замрите и не дышите!

Последнее можно было не говорить: мы и без того замерли и не дышали. Смотрели, всё ещё не веря, что вот такое чудо может существовать на свете. Но “чудо” не исчезало, “чудо” стояло в нескольких шагах от нас, реальное, как солнце, как горы, как деревья и дома, как вода, которая, вытекая из-под камня, играла радугой. Грациозно наклонившись, “чудо” подставляло под воду из настоящего золота кувшин, и каждый из нас невольно подумал, какой же вкусной должна быть вода в кувшине! Раз напиться — и умереть!

И было этому “чуду” лет шестнадцать, не больше.

— Фотоаппарат! — застонал Григорий Михайлович. Не отрывая от юной красавицы глаз, он на ощупь шарил вокруг себя руками. — Где фотоаппарат?... Куда девался мой фотоаппарат?! — В последней фразе прозвучало столько отчаяния, будто речь шла о его собственной жизни.

Окрик Григория Михайловича привёл меня в чувство, и я вспомнил о собственном “Зените”, привычно висевшем на груди. Позвал:

— Григорий Михайлович!

Григорий Михайлович уже бежал, но в обратном направлении.

— Ведь всё равно не застанете! Она уже ушла!..

— Поехали следом. А то ещё женится, — сказал Анатолий. И мы повернули назад.

Красавицы, конечно, уже не было. Сиротливо журчала вода, все краски вокруг казались поблекшими.

Григорий Михайлович дулся до самого вечера. Молча сидел, жалостно моргал и был похож на большую птицу, оскорблённую в самых святых своих чувствах.

— Вы понимаете, Андреевич, насколько это важно для меня, — жаловался он уже ночью, когда все, кроме нас двоих, заснули. — Как можно так делать?

Мы лежим в спальных мешках поверх надувных матрацев под высокой скалой, упирающейся своей чёрной громадой в небо. Прошитое яркими звёздами небо нависает так низко, что если бы не скала, подпирающая его, оно опустилось бы прямо на нас. Немного ниже реактивным самолётом ревет могучий поток. Поначалу, пока не привык, часто просыпался: казалось, что вода начинает нас заливать. Вот-вот подхватит, швырнёт вниз, в стремительное течение, в яростно вспененные волны, разобьёт о лобастые камни. Но в конце концов, привык, и постоянный этот грохот уже не тревожит, а убаюкивает.

Как могу, утешаю своего друга. Говорю, что Виктор Никитич заметил фотоаппарат уже после того, как мы выехали за кишлак, так что всё равно было поздно. А сказал это шутливым тоном.

— Как можно так шутить?

Бедный Григорий Михайлович! Он всё воспринимает всерьёз. Он совершенно не понимает, как можно говорить неправду. Поэтому и обмануть его легче, чем маленького ребёнка.

Вчера, например, мы остановились посреди широкой долины, на берегу мёртвого озера. Да и долина вся была мёртвая: ни единого растения, даже

травинки, одна только глина, ну, и белые пятна солончаков. Остановились из-за нескольких буровых скважин: Виктор Никитич как гидрогеолог должен был взять из них пробы воды. Да ещё надеялись найти агаты. Какие-то геологи вроде бы здесь подняли (ох, уж это вроде бы!) несколько сказочных агатов: на пурпурном фоне — снежно-белые муаровые линии. Нам не удалось увидеть агаты собственными глазами, о них рассказали те, кто вроде бы их видел (снова это вроде бы!), но мы обязаны были проверить эти данные. Натягивали палатку и смотрели, облизываясь, на красные холмы метрах в трёхстах от нашего временного лагеря: именно там, по рассказам, должны были быть агаты.

— Григорий Михайлович, пошли, пока видно.

— Идите, я вас догоню.

Я и Анатолий не успели ступить несколько шагов, как позади прозвучал отчаянный крик:

— Где мой молоток?.. Кто видел мой молоток?..

Все вещи Григория Михайловича имели удивительное свойство исчезать именно тогда, когда они были более всего необходимы.

Я подумал, не повернуть ли назад, Но Анатолий уже подходил к красным холмам. И я, заглушив голос собственной совести, бросился вслед. Агатов мы там не нашли.

— Будем знать, что их здесь нет, — утешил меня Анатолий — он всегда находил причину для утешения. — А где же наш Григорий Михайлович?

Заинтригованные, возвращались мы в палатку. И ещё издали увидели странную картину...

Но чтобы представить себе эту картину как можно чётче, попытаемся изобразить самого Григория Михайловича.

Возьмите чистый лист бумаги, подберите самое тонкое перо. Проведите длинную ломаную линию — это и будет Григорий Михайлович. Вот такая линия, сломавшись пополам, и катила на наших глазах огромный валун.

— Неужели агат? — удивился Анатолий.

— А может, золотой самородок?

— Вот, — сказал с упрёком Григорий Михайлович, когда мы подошли, — пока вы где-то ходите, я спасаю палатку.

— От чего?

— От урагана.

Около палатки уже лежали два валуна.

— Кто вам это сказал?

— Крат... Ночью будет ураган.

Мы переглянулись: глаза Анатолия загорелись предчувствием очередного розыгрыша.

— Виктор Никитич, — обратился он к Крату, который как раз возвращался с буровой скважины, — действительно будет ураган?

— Господь с вами, какой ураган?

— Да вот Григорий Михайлович говорит...

— Так он шутит.

— Да ведь вы же сами говорили! — вопль несчастного долетал до небес.

— Я вам говорил? Я сказал совсем другое: вы так храните, что может сорвать палатку. Поэтому её нужно закрепить как следует...

— Я храплю?.. Я?.. — задохнулся Григорий Михайлович. И весь вечер не мог успокоиться:

— Нет, вы только подумайте: я храплю!

Его почему-то больше всего возмутило не то, что Крат заставил его катить тяжелейшие валуны, а утверждение, что он храпит.

— Поверьте мне, Андреевич, сколько я живу — никогда не храпел.

Я слушал этого взрослого ребёнка и не знал, что делать: сочувствовать или смеяться. Такое трогательное сочетание детской наивности со старческой мудростью мне встречалось впервые. Настоящий учёный, ясная голова, ведущий работник научно-исследовательского института, руководитель большой темы: экспедиция наша совершалась, собственно, потому, что с нами ехал Григорий Михайлович.



— Григорий Михайлович, ну, кому же, как не вам, знать геологов! Вы же сами геолог. Нигде, кажется, так не “покупают” друг друга, как среди этого народа. Родного отца не пожалеют, если представится удобный случай. Это уже традиция...

— Идиотская традиция!.. — сердится Григорий Михайлович. Он никак не может понять, как на подобные мелочи можно расходовать драгоценную энергию мозга. — Я храплю!..

— Да не храпите вы!

Успокоился, наконец. Повернулся на спину и моментально заснул. Так, как может засыпать только он: без дремоты, экономя время. Силой своей бешеной воли, в чём я имел возможность убедиться не раз. Как-то (это было в Казахстане) он простудился. Температура под сорок, пылает огнём.

— Вы лежите, я сам пойду за агатами.

Он вскочил, поспешно стал обуваться:

— Я тоже пойду.

— Куда вам идти! Умрёте!

— Андреевич, мне лучше знать, умру я или нет. Через час буду абсолютно здоров.

Вышел из палатки. Под холодный ветер и дождь. Через час в самом деле от горячки не осталось и следа...

Во второй раз он спас уже меня. Когда я, перегревшись под безжалостным солнцем пустыни, свалился от теплового удара. Я уже даже не болел — я умирал. Всего меня выворачивало, голова разваливалась, сердце трепетало в груди. Лежал в какой-то покинутой мазанке, попавшейся нам на пути, и в болезненной агонии ожидал неминуемого конца.

И тут надо мной склонился Григорий Михайлович — всё это время он ни на шаг не отходил от меня.

— Андреевич, вам очень плохо?

Я только застонал.

— Я вам сейчас помогу. Мне только надо выйти наружу, чтобы сосредоточиться, — стояла ночь. — А вы постарайтесь расслабиться.

Я, кажется, уже бредил, потому что не заметил, когда он вышел, когда вернулся.

— Сейчас вы заснёте.

Две тёмные ладони нависли надо мной. И столько ласки, столько тепла было в этих ладонях, что я всем своим существом трепетно потянулся им навстречу. Растворился в них и сразу же провалился в сон. Глубокий, крепкий, без сновидений. До самого утра.

Поднялся, всё ещё не веря в чудо, которое свершилось: как будто и не болел. Чувствовал себя свежо и бодро.

— Я передал в вас частицу своей энергии, — объяснил Григорий Михайлович. У него был такой вид, словно он сам только что поднялся после тяжелого недуга.

Не знаю, что это было: гипноз или действительно какая-то биотерапия. Только от болезни моей не осталось и следа...

Речка разгулялась не на шутку: аж земля дрожит. Скала, нависавшая над нами, тоже вроде бы начинает вздрагивать. Гляди, ещё завалится! “А что, если землетрясение?” — возникает тревожная мысль. По дороге из Душанбе в Ленинабад, если спускаться с перевала, в мрачном и глубоком ущелье, куда и солнце боится заглянуть, ещё до революции во время землетрясения произошёл грандиозный обвал. Гигантская гора сползла вниз, похоронив целый кишлак. И хотя с тех пор прошло уже столько времени, жутко проезжать по той дороге: речка здесь исчезает под горой камней, заваливших кишлак, чуть слышно шумит внизу, и кажется, что это обращаются к нам, к живущим, души погибших. Не случится ли с нами такое?

Настороженно поглядываю вверх. Чёрная громада неумолимо и тяжело нависает над головой, готовая вот-вот завалиться вниз. Становится по-настоящему страшно, и уже не греет спальный мешок, а надувной матрац становится твёрже камня.

А спутникам моим хоть бы что! Крепко спит Анатолий (ему не привыкать к горам), недвижно торчит борода Виктора Никитича, из машины высовывается спальник Гириштейна. Как всегда, хозяйственный и собранный, он ещё с вечера заправил паяльную лампу, положил на неё спички, а в чугунок набрал воды. Кто первый встанет — всё под рукой. Матово отсвечивая фарами, отдыхает наш трудяга-“уазик”, который намотал сегодня не одну сотню километров по таким головокружительным подъёмам и спускам, что можно их показывать в цирке. Спит Григорий Михайлович, только на этот раз забыл, должно быть, “включить” глубокий сон: всё время вздрагивает, будто что-то ищет. Не видится ли ему та красавица, которую так и не сумел сфотографировать?

Непрочный, словно призрачный, мирок, достаточно дунуть — не останется и следа, а какой же милый и уютный!

Вздыхаю от полноты чувств, насильно закрываю глаза, заставляя себя не думать о миллионах тонн, нависающих над головой.

А о чём же тогда думать?

О неожиданной для меня этой экспедиции, об Огневых и Анатолии.

Всю жизнь буду благодарен Григорию Михайловичу за то, что он познакомил меня с Анатолием, а позже с Огневыми.

Мы с ним принадлежим к тому неистребимому племени каменщиков, которые готовы на край света податься за одним-единственным агатом. Почему именно агатом? Да потому, что каждый камушек этого самоцвета неповторим. Среди миллионов агатов вы не найдёте двух абсолютно похожих. Агаты — ярко выраженные самобытные существа, со своим, только им присущим рисунком и цветом. Только в агате, особенно муаровом, бывает столько самых тонких линий на один миллиметр; их трудно не то что посчитать, а и отличить. Григорий Михайлович говорит, что если космические гости и побывали на нашей планете, оставив какую-то информацию, то её следует искать, прежде всего, в агатах. Эта красивая гипотеза всегда приходит на память, когда я люблюсь очередным камнем с особенно причудливым и замысловатым рисунком. В закономерности цветов, в взвихренности линий, в необычайной чёткости и завершённости есть что-то от разума, а не от слепой игры природы.

Анатолий не раб агатов, ему подавай кристаллы — ведь они любят забираться высоко вверх.

Я не знаю, как он набрёл на Григория Михайловича, а тот уже по эстафете передал его мне.

— Андреевич, хотите познакомиться с интересным человеком? — Григорий Михайлович всегда разговаривает по телефону так, будто у него вырывают из рук трубку: быстро и сердито.

“Ну, что вы меня вроде как ругаете! — Да никто вас не ругает!” — звучит ещё более сердитый ответ.

— Хочу.

— Тогда я его сейчас к вам пришлю. Учтите: это товарищ с Памира, где мы с вами ещё не были.

Не скажу, чтобы “товарищ с Памира” мне сразу понравился. Было в нём что-то такое ершистое и колючее, такое нескрываемо въедливое, что невольно вызывало настороженность. Рассматривал мою коллекцию агатов с таким видом, будто вот-вот собирался сказать: “И это всё?..”

Задетый за живое, я выкладывался, как говорится, до конца: доставал особенно ценные и редкие экспонаты, рассказывал, насколько они уникальны.

— Ничего камушек, — соглашался он с какой-то ноткой превосходства в голосе. А когда, заведённый им окончательно, я открыл свой заветный ящик и предложил взять что угодно на память о нашей встрече, он вроде бы даже как-то нехотя отобрал несколько агатов. — Не ограбил вас, надеюсь?

Ну, и типчика подсунил мне Григорий Михайлович!

Единственное, что меня удержало от въедливой реплики (“Ну, куда уж нам, серым, тягаться с вашим Памиром!”), это его ноги. Я сразу же обратил внимание на его необычную походку. Он ступал, как будто падал, ступал, словно каждый раз одолевал невидимую преграду. Только тогда, когда

он разулся, чтобы не топтаться по ковру (расшнуровывал высокие, очевидно, на заказ сшитые ботинки), когда вошёл в комнату, я понял причину такой его походки: у него не было ступней. Их вроде б обрубили топором, и ходил он фактически на пятках...

Попрощались мы теплее, чем встретились. Во-первых, я выяснил, что он мой земляк, с Украины. А на Украине, как утверждает писатель Александр Ковинька, плохих людей просто не бывает. А во-вторых, я пригласил его пообедать, и уже за обедом он немного оттаял: стал рассказывать о памирских семитысячниках так, как будто сам там побывал, а мне, признаться, всегда нравились во что-то влюблённые люди.

— Приезжайте в Душанбе! — пригласил он на прощание. — Сходим в горы.

“Куда уж тебе, бедняге, ходить в горы!” — подумал я, стараясь не смотреть на его обрубленные ноги.

Прощаясь, он первый подал мне руку. Пожатие было энергичное и крепкое.

Где же он всё-таки умудрился вот так покалечить ноги?..

Во второй раз я встретился с Анатолием уже в Таджикистане, в Душанбе. Правда, прилетел не к нему: Григорий Михайлович однажды с присущей ему манерой позвонил и выпалил:

— Андреевич, немедленно собирайтесь!

— Куда?

— Летим в Душанбе.

— Когда?

— Завтра. Я уже заказал билеты на самолёт. Есть реальная возможность побывать на Памире.

— А сегодня мы не могли бы полететь? — Я вложил в свой вопрос как можно больше сарказма.

— Андреевич, вы думаете, мне так легко было заказать билеты! — сразу же сорвался на крик Григорий Михайлович. — Я всю академию на ноги поставил!

Что он это мог сделать, я ничуть не сомневался. При всей своей неорганизованности в быту, при всей своей жизненной незащитности Григорий Михайлович там, где речь шла о делах служебных, мог любую бетонную стенку пробить. “Не сам ли президент бегал заказывать билеты?” — подумал я.

— Так что собирайтесь! — у него не было никакого сомнения, что я не откажусь.

И я, кладя трубку на рычаг, уже знал, что полечу-таки. Полечу, хотя меня ожидали тысячи срочных дел, которыми обрастает человек, живущий в городе... Стой, а билеты!.. Два билета в оперный театр, которые достала жена. “Мы с тобой никогда не ходим в театр. Всё дела, дела, и на люди некогда выйти! — Как же, голубушка, выйдешь!” Я уже доставал свой огромный рюкзак, куда можно было пол-Киева втиснуть, искал туристические ботинки и спальный мешок...

— Летим прямо к Огневым, — сообщил Григорий Михайлович уже в самолёте (рейс 3248, Киев — Душанбе, десять тысяч метров над горой дел, которые так и остались недоделанными, над моими терпеливыми женой и мамой).

— А кто такие Огневы?

— Огнев — мой давний товарищ. Вместе учились в институте. Они оба геологи... Да вы сами убедитесь, какие это прекрасные люди!

— Дети у них есть?

— Что-то, кажется, есть, — как всегда, от того, что непосредственно не относится к делу, небрежно отмахнулся Григорий Михайлович.

У Огневых было аж трое детей: старшая дочь и два сына. Сами же Огневы, действительно, оказались на диво сердечными людьми: приняли нас, как родных, и на протяжении недели, когда мы сидели на их шеях, делали все от них зависящее, чтобы мы не скучали. Хотя Николай Сергеевич и Валентина Сергеевна давно уже распрощались с полем, в душе они оставались такими же молодыми геологами из того непоседливого племени, которое

с первым дуновением весны теряет покой и начинает собираться в дорогу, как птицы в тёплые края. Да, собственно, они никогда не порывали с геологией: Николай Сергеевич до сих пор работает в геологическом управлении Таджикистана первым заместителем начальника и, как говорится, минуты свободной не имеет; Валентина Сергеевна движет вперед геологическую науку в одной из проблемных лабораторий. Они и приняли самое деятельное участие в подготовке нашей экспедиции.

Несколько вечеров подряд просидели мы над картами Памира, определяя самые интересные места, которые стоит посетить, и главный гидрогеолог Виктор Никитич Крат, который должен был осуществлять инспекторскую поездку по буровым скважинам, только и знал, что остуживал наши горячие головы:

— Здесь машина не пройдет!

Или:

— Это слишком в стороне от основного маршрута.

— Но ведь там должны быть агаты! — стонали мы с Григорием Михайловичем.

— В следующий раз поедем. Вы что же, одним махом хотите весь Памир ограбить?

Потом к нам присоединился Анатолий, который как раз ушёл в отпуск:

— Зор-Бурулюк!.. Если что-то интересное и есть на Памире, то только на Зор-Бурулюке!

— А где он, этот ваш Зор-Бурулюк? — допытывались мы, очарованные уже самим названием.

— На Восточном Памире. В районе Мургаба.

Две пары глаз — мои и Григория Михайловича — молитвенно смотрели на Крата.

— Можно, — кивнул аккуратной бородкой Виктор Никитич. — Нам всё равно нужно быть в том районе: недалеко от Мургаба работают наши гидрогеологи.

Восточный Памир, Мургаб, Зор-Бурулюк... Названия эти уже вошли в нашу кровь, как яд. Жадно рассматриваем карту, сплошь закрашенную в густо-коричневый цвет. Высота не ниже четырех тысяч метров. Тоненькая ниточка дороги, тянущаяся сперва над Пянджем, поднимается потом на коричневое плато, упираясь в небо.

— Захватите побольше тёплой одежды, — предупреждает Огнев.

Я недоверчиво смотрю на милого нашего хозяина: “Тёплая одежда? Посреди лета? Когда на улице в тени почти сорок? Садись в троллейбус — выходишь насквозь промокший...” Не очередной ли геологический розыгрыш?

Но Крат серьёзно отвечает:

— Я уже сказал Гирштейну.

Фамилия Гирштейна упоминается в течение всего вечера. Памирский шофёр неровня нашему белоручке, который только и знает, что крутить баранку и нажимать на педали. Памирский шофёр — это и завхоз, и начпрод, и повар, а часто и геолог. Он должен проследить, чтобы его пассажиры среди ночи не стучали зубами, а днём не ходили голодными. Должен помнить, где что лежит в фантастической горе снаряжения и вещей, чудом уместившихся в машине. И ко всему ещё должен вести эту машину. По двенадцать, а то и по восемнадцать часов в сутки, днём и ночью, по таким высокогорным дорогам, что наш самый смелый водитель, выскочив из кабины, упал бы на дорогу и, закрыв глаза ладонями, закричал бы в отчаянии: “Мама!” Памирский шофёр должен иметь зрение орла, сердце льва, реакцию кобры. Иначе на первом же повороте он полетит вместе с машиной в пропасть.

Впрочем, иногда и это не спасает. Когда мы уже забрались в горы, я поначалу полагал, что столбики над аккуратными кучками камней расставили орудовцы, отмечая особо опасные участки дороги. И только потом узнал, что так обозначают тут места, где погибли водители. Десятки столбиков попадались нам по дороге, а в одном месте, в зоне камнепада, мы тоже чуть было не заработали столбик: огромный двухметровый валун, нависавший над самым узким участком дороги (слева — сплошная каменная река, которая так

и дышала, справа, под самыми колёсами — чёрная бездна, куда и смотреть жутко), — валун в несколько тонн вдруг надумал сдвинуться с места: раздался страшный треск, наша машина, дёрнувшись, замерла, а в прорванное отверстие злобеще заглянула каменная серая мордяка. И столько тупой безжалостной ярости было в той морде, что, онемев, мы продолжали неподвижно сидеть и загипнотизированными кроликами смотрели на неё.

— Из машины! — закричал Гирштейн.

Как мы очутились на дороге, не помню. Стоя позади нашего “уазика”, глядели на каменное чудовище, которое, упершись лбом в машину, пыталось спихнуть её в пропасть.

Оставшийся за рулём Гирштейн снова завёл мотор. Машина вздрогнула, точно раненая, и стала осторожно, сантиметр за сантиметром, продвигаться вперёд. И нам всем казалось, что валун, не желая её отпускать, медленно движется за ней...

— Можете считать, что нам повезло, — сказал Виктор Никитич. Он так и не оставил машину — сидел рядом с Гирштейном. И рассказал, что на этом самом месте полетела в пропасть целая таджикская свадьба: грузовая машина вместе с молодой, молодым, гостями и оркестром.

— Неудивительно, — отозвался Анатолий. — Вы разве не видели, как они ездят?

Видели. Шофёры-таджики ездят так, будто у каждого за спиной крылья. Основную свою задачу они видят в том, чтобы выжимать из машины всю скорость, какую она только способна развить. Страшно смотреть, как летит над пропастью вот такой обезумевший кусок железа, дерева и резины. Как его мотаает из стороны в сторону, как заносит и кидает. Изю всех сил сигнала, машина вихрем обгоняет осторожный наш “уазик”, а таджики, сидящие в кузове, вместо того чтобы выпрыгивать, спасая свои души, что-то весело нам кричат и машут руками. Вот так, крича, смеясь, размахивая руками, полетят прямо в рай, где, говорят, розовые напитки и сладкий щербет. И по семь гурий на каждого. Непостижимо отчаянный народ!

Киевские наши орудовцы за час поседели бы, если бы их поставили регулировать движение на памирских дорогах. Не то таджикская милиция. “Торопись на тот свет? Гоняй, дорогой!”

Накануне отъезда мы побывали у Анатолия. Он давно звал к себе (“Министерских закусок-напитков не будет, — намёк на Огневых, — мы люди скромные, зато увидите пару прелюбопытнейших кристалликов”), но нам никак не удавалось выбраться. Наконец, получили ультиматум: “Либо приедете ко мне, либо я с вами не поеду!”

Анатолий жил на окраине, поэтому добирались к нему почти час. Пятиэтажные стандартные дома, возведённые ещё в шестидесятые годы, во время борьбы с архитектурными излишествами, стояли, напоминая рахитичных близнецов. Не будь они обозначены номерами, даже тот, кто в них живёт, не смог бы попасть домой. Узкие лестницы, стены, выкрашенные ядовито-зелёной краской, столь любимой нашими управдомами, клетушки-комнаты, в которых потолок можно достать рукой. Двухкомнатная квартирка, где, кроме Анатолия, жил тогда его сын Михаил, а теперь и ещё один сын, так что живут они уже вчетвером, не считая матери Анатолия, вынужденной нянчить внуков. Но тогда был только Михаил: пятилетний человечек, обещавший в будущем стать точной копией своего папочки. Те же волосы, неподвластные никакому гребешку, те же чернющие, угольками, глаза, та же упрямая складочка, едва заметная пока на детски чистом лбу. И, конечно же, собственная, отдельно от отца, коллекция: малюсенькие кристаллики в деревянной коробке, которую он держал в руках с самого утра, ожидая гостей.

Так что сначала мы должны были отдать должное Мишкиной коллекции, а потом уже перейти к отцовской. Мальш ревниво следил за каждым кристалликом, заглядывая нам в глаза: понравилось ли? В общем, достойная смена нам обеспечена.

В коллекции Анатолия друзья и отдельные кристаллы самых разнообразных цветов и размеров переливались, мерцали, сочились живыми огнями. До сих пор равнодушный ко всему, кроме агатов, я впервые понял тогда, что

и кристаллы, со вкусом подобранные и удачно расставленные, могут произвести большое впечатление. Могут понравиться не меньше, нежели агаты.

— Больше, Андреевич! Больше!

Я сразу же вспомнил, с какой миной рассматривал Анатолий мою лекцию, и решил отплатить ему той же монетой. Сделал выражение лица как можно более равнодушным, ещё и губу скептически надул.

Уникальный кристалл аметиста?.. Да у нас дороги мостят такими кристаллами!.. Редкостный японский двойник?.. Подумаешь, редкость!.. Два кристалла срослись крест-накрест, и уже редкость. Вот если бы так срослись кристалла четыре...

Но я еще не знал как следует Анатолия.

— Походим как следует по Памиру — найдём и четыре!

А вот что меня потрясло по-настоящему, так это огромное, в полстены, фото, больше напоминавшее картину, настолько впечатляющей была на нём каждая деталь.

Анатолий потом говорил, что автор этого шедевра — самый талантливый фотограф во всем Союзе. Не знаю. У него всё, что касалось Памира, начиналось с “самый”, но эта фотография действительно представляла собой настоящее произведение искусства. Где-то высоко в горах, среди хребтов гигантским холмом изогнулось поле застывшего снега. Снег, камень, чёрное, как в космосе, небо — и тишина. Всё онемело, замерло, скованное вечным молчанием, где нет места ничему живому. Тем сильнее поражала одинокая фигура альпиниста, который, прокладывая за собой тоненькую ниточку следа, упрямо преодолевает этот холм. Я почти ощутил, как тяжело даётся ему каждый шаг, каждое движение среди этой снежной беспредельности, и в то же время понимал: он не остановится. Ни за что не остановится, что бы там не случилось! Столько упорства было в этой фигуре. И было в этом альпинисте что-то очень знакомое.

— Неужели это вы? — спросил я с удивлением.

— Было такое дело, — и его обветренные губы шевельнулись в едва заметной улыбке.

Выходит, Анатолий раньше был альпинистом. Потому что без стоп он ведь не мог уже забраться на такую высоту.

В том, что он был альпинистом, я имел возможность убедиться ещё раз. Неделю назад, на Бартанге. Когда мы отправились в первый поход, оставив в кишлаке Гириштейна с машиной.

Там, вдали, в конце длиннейшего сая, протянувшегося на много километров и разрезавшего высокие хребты, должны были быть турмалины. У Анатолия была схема, начерченная знакомым геологом, который побывал на месторождении.

— Кристаллики — закачаешься!..

Целый день, с утра до вечера, одолевали этот сай. Едва заметная тропинка, поднимающаяся все выше и выше, вела то по правому, то по левому берегу безымянного потока, впадавшего в Бартанг. Безымянность не мешала ему пробить глубочайшую расщелину там, где скалы грозно нависают над головами, прижимая нас к потоку, катившему вниз бурные свои воды; где гигантские камнепады преграждают путь, и приходится скакать с камня на камень, испуганно поглядывая вверх: не начинает ли двигаться миллионотонная масса породы; где головокружительные подъёмы и спуски выматывают душу, а солнце печёт так, словно вознамерилось сделать из нас мумии; где лёгкий поначалу рюкзак с одеялом и спальным мешком, “сухим пайком” на трое суток, штормовкой и свитерком с каждым шагом становится всё тяжелее и тяжелее, а лямки всё больше врезаются в плечи. Мы всё чаще останавливались отдыхать, потому что сай тянулся бесконечно: за последним, казалось, поворотом появлялся новый, а того бокового сая, в котором и должны были залегать турмалины, было не слышно и не видно. Мы уже не шли, а обречённо тащились, и даже Виктор Никитич, который бодрился всю дорогу, замолк. Один Анатолий шёл так, словно только что отправился в путь, шёл, как машина, вроде бы и не спеша, но и не останавливаясь. И когда мы устроили привал и тут же попадали на землю, освобождаясь от

рюкзак, он и не думал отдыхать: то карабкался на какой-нибудь особенно интересный утесик, чтобы постучать по нему молотком, то бродил над потоком, рассматривая отшлифованную гальку, забывая даже рюкзак сбросить, а рюкзаки у него весил вдвое больше наших: кроме спального мешка, харчей и маленькой палатки, было там альпинистское снаряжение: металлические крюки, мотки шнуров, тяжеленные запасные триконы, окованные железом. Я никак не мог понять, для чего он взял вторую пару обуви, пока мы с ним, немного поотстав (снова вскарабкавшись на какой-то утёс, он крикнул: “Идите, я догоню!”), не прозевали очередной мостик, и дорогу нам преградила совершенно неприступная скала; вверху нависало такое, что заколебался даже Анатолий.

— Вы не пройдёте. Придётся возвращаться назад.

Я чуть не взвыл от мысли, что нужно возвращаться. Потерять с таким трудом завоеванные метры!

— А может, как-нибудь перебрём на ту сторону?

— Здесь? — саркастически спросил Анатолий. — Здесь от вас, уважаемый, и следа не останется, по камням размажет. А если уж перебираться, то в каком-нибудь другом месте.

И мы повернули назад. Поток через несколько сот метров расширился, наконец, разлился по ложбине, разделившись на три ручья. Тут уже не так жутко ревело, не ходили ходуном вспененные волны, вода мчалась густая и прозрачная, как расплавленное стекло. Анатолий достал нож, вырезал две большие палки, одну дал мне.

— Будете упираться в дно со стороны течения. И не смотрите в воду. Дайте свой рюкзак.

Повесил спереди мой рюкзак, шагнул, как был в ботинках, в поток. Вода забурунилась, обтекая ноги. Анатолий шёл, осторожно нащупывая дно, прежде чем поставить ногу. Перебрался через один рукав, через другой, преодолев третий, махнул мне рукой, чтобы начинал перебираться и я. Я сел разуваться.

Я всё ещё стоял, колеблясь: мне не хотелось мочить ботинки — запасных я не имел. “Да что это я, в самом деле, лето ведь на улице! Перебреду босиком!” Быстренько разулся, повесил ботинки на шею и, радуясь собственной сообразительности, ступил в поток.

То, что сразу впелилось в мои босые ноги, можно назвать чем угодно, но только не водой. Что-то пружинистое, плотное и такое ледяное, что я чуть не задохнулся. Оно било в ноги, сдирая кожу, а в мои изнеженные размягчённые ступни городского жителя и лежебоки, не знавшего ничего более твёрдого, чем войлочные стельки, злорадно впелись острые камни.

Кое-как преодолев первый рукав, я долго пританцовывал на горячей гальке, пытаясь хоть немного согреться. А меня ведь ожидало ещё два рукава!

Третий я преодолевал на последнем дыхании. Ноги уже были не мои: две ледышки ступали по дну, острая боль от холода докатывалась до самого сердца. Казалось, что и сердце уже начинает остывать и вот-вот остановится. Дрожь, как в лихорадке, выщёлкивая зубами так, что слышно было, наверное, в Душанбе, выбрался я, наконец, на берег и сразу же упал, задрал ноги к солнцу. Готов был воткнуть в него свои ноги по самые колени.

— Чайку не хотите?

Он ещё спрашивает!

Стеная и всхлипывая, я схватил алюминиевую кружку, стал пить тёплый чай, густой и сладкий, налитый из баклаги. А рядом уже трещал небольшой костёр — под чай, и Анатолий следил, чтобы я не залез в огонь с головой.

Почаевничав как следует, мы отправились догонять своих спутников. С каким же наслаждением ощущал я на своих бедных ногах шерстяные тёплые носки и сухие ботинки!

Нужный нам боковой сай вынырнул аж под вечер. Солнце уже успело спрятаться за горы, с покрытых снегом вершин, величаво поднимавшихся к небу, подул, стекая стремительно вниз, холодный ветер. Только что мы задышали от жары, мечтая о малейшей тени, а теперь приходилось поспешно натягивать свитера и штормовки. Ещё достаточно хорошо видно, но нужно

заботиться о месте для ночёвки, потому что найти ровную площадку здесь не так-то легко. Наконец, Анатолий, взобравшись на тридцатиметровую крутизну, утыканную валунами, держащимися на честном слове, крикнул, чтобы мы поднимались к нему, и мы полезли вверх. Пока поднимались, он уже расчистил площадку и стал готовить место под костёр. Виктор Никитич, освободившись от рюкзака, отправился вниз по воду, а мы с Григорием Михайловичем собирали хворост.

Потом, когда надули матрацы и разостлали спальные мешки (палатки ввиду ясного неба решили не ставить), когда немного пожевали консервов и напились властью, до изнеможения, горячего чаю, ещё долго сидели у костра, не двигаясь, чувствуя, как усталость постепенно выходит из натруженных тел. Над нами уже сверкали неправдоподобно большие памирские звёзды, далекий их свет сеялся торжественно и спокойно, а чёрные хребты, поднимавшиеся им навстречу, дышали вечностью. Всё, что до сих пор волновало и тревожило нас, что казалось чрезвычайно важным и жизненно необходимым, растворилось в тишине, такой первозданно могучей, что все хлопоты наши выглядели теперь смешными и ничтожными. Мы сидели, замерев, чувствуя, как тишина входит в наши тела, наполняя сердца наши и души, и что-то постепенно меняется в нас самих: мы как бы приобщались к вечности, к её первоисточникам, давно нами утерянным.

— Что ж, пора спать, — отважился нарушить тишину Виктор Никитич. — Никто больше чая не хочет?

Никто не хотел — налились до краёв.

— Тогда, с вашего позволения, я допью...

И тут Григорий Михайлович, решив, очевидно, что нам стало скучно, настроился на ночь почистить зубы.

— Виктор Никитич, вы весь чай выпили?

— Весь.

— Чем же я почищу зубы?

— А вы что, не можете потерпеть до утра? — удивился Анатолий. — Целоваться здесь не с кем...

— Анатолий Михайлович, если вы не понимаете, как для меня важно почистить зубы, то лучше помолчите!.. Виктор Никитич, вы действительно выпили весь чай?

— Выпил. До последней капли.

— Странно, странно...

Григорий Михайлович какую-то минуту стоит, покачиваясь на одной ноге (он всегда поджимает одну ногу, когда начинает волноваться), потом склоняется над рюкзаком, что-то достаёт, идёт на край обрыва.

— Вы куда?

— Как куда? К реке, чистить зубы.

— Вы что, хотите себе шею свернуть? — спрашивает Анатолий сердито. — Ничего ведь не видно!

— Но я ведь должен почистить зубы! — голос его уже долетает откуда-то из бездны.

Через какое-то время слышим грохот, словно полгоры обвалилось.

— Почистил! — раздаётся замогильный голос Анатолия. Он срывается и бежит к пропасти.

— Посидите, Андреевич, здесь, — встревоженно говорит Виктор Никитич и бросается вслед за Анатолием.

Усидеть я, естественно, не могу. Подошёл к краю пропасти, стал напряжённо вслушиваться. Черно так, будто залито смолой. Глухо шумит поток: ни крика, ни голоса. Мысли, одна тревожнее другой, забираются в голову, и начинает мерещиться такое, что я теряю остатки покоя. Мне уже кажется, что там вообще не осталось никого в живых. Вспоминаю об электрическом фонарике, лежащем в рюкзаке. Лихорадочно шарю, выбрасывая всё подряд, и мне кажется, что меня кто-то зовёт. Оттуда, из бездны. Нащупываю, наконец, фонарик, бегу к пропасти. И тут до меня доносятся сердитые голоса. Всё во мне обмякает, ненужный теперь фонарик бессильно повисает в руке.



— Чтобы это было в последний раз!

— Но ведь должен же я почистить зубы!

— Я бы вам почистил!

— Сколько можно объяснять, что вы запросто могли сейчас разбиться? Кому были бы нужны ваши чистые зубы?

— Анатолий Михайлович, как вы не понимаете, что я не могу заснуть, не почистив зубы!..

Первой появляется тонкая фигура Григория Михайловича. Белое полотенце в руке несколько не означает, что он капитулировал. Чёрт его знает, что за человек: у него странные, совершенно неприемлемые представления о собственной безопасности. Затяни его на Джомолунгму — среди ночи ползет вниз, вспомнив, что у него нечищенные зубы.

— Но ведь вы действительно могли разбиться! — говорю ему, когда мы уже улеглись.

Он так и взвился в своём спальном мешке:

— Андреевич, запомните: я никогда не разобьюсь! Если сам этого не захочу, — в нём, наверное, ещё до сих пор кипит спор с Анатолием и Кратом...

“А может, и в самом деле? — шевелится крамольная мысль. — Может, они, эти учёные, из другого теста выпечены?.. Для чего-то же он изучал философию йогов, тибетские манускрипты? Поговорить с ним, послушать хотя бы его космогенную гипотезу — голова идёт кругом! Неужели у учёной этой братии участвует в мышлении не десятая часть мозга, а значительно большая? И для чего, зачем мы всю жизнь носим этот мёртвый капитал, ни разу не воспользовавшись им? Дух захватывает при одной только мысли, как далеко шагнуло бы человечество, если бы включило свой мозг на полную мощность! А может, мы не готовы к этому? Может, общество, которое состояло бы сплошь из гениев, просто не в состоянии было бы существовать? И посредственности, возможно, не менее необходимы, чем гении? Ведь и природа вся замешена на контрастах...”

Вот такие мысли приходят в голову. Не там, в районе Бартанга, в безымянном сае, над пропастью, где едва не оставил свои зубы Григорий Михайлович, а за хороших полтысячи километров, на пороге Восточного Памира. Гигантская скала нависает над головой, и под ней не так-то легко заснуть.

Мы так и не нашли в том сае турмалинов, хотя обшарили все подозрительные места. Обшарил, правда, в основном Анатолий: перепады в несколько сот метров быстро остудили мою и Григория Михайловича поисковую горячку. Виктор Никитич как гидрогеолог тоже старался держаться потока, один только Анатолий неутомимым муравьём сновал то вверх, то вниз, не зная усталости. И нам оставалось разве что удивляться: только что был рядом, а через какой-то десяток минут уже вон где — упрямо взбирается на скалу. И когда уже где-то в полдень он сказал, что турмалинами здесь и не пахнет, мы ему сразу поверили. Тем более охотно поверили, что уже и руки болели, и очень хотелось есть.

— Турмалины нас ждут в Зор-Бурулюке, — сказал Анатолий, прихлёбывая чай; тугое худощавое лицо его дышало при этом такой непреодолимой верой в тот Зор-Бурулюк, что никто из нас не посмел высказать сомнение.

Зор-Бурулюк! Ещё совсем недавно недоступный район, белое пятно на геологической карте Памира. Где долины приподняты на высоту Эльбруса, а по пятитысячникам запросто шагают местные таджики, пасущие яков. Где дорожными указателями служат рога архаров, закрученные в могучие спирали, а к звёздам иногда ближе, чем к огням родного города. Где и поныне не присыпаны следы от копыт древних караванов, которые месяцами путешествовали среди суровых гор, везя экзотические товары из таинственной империи хинов. Где в километровой отвесной стене чернеет гигантская пещера, в которой, по рассказам, один из хинов-разбойников спрятал своё несметное богатство: серебро и золото, драгоценные камни и ювелирные изделия, способные потеснить ценнейшие коллекции всемирно известных музеев. Несколько дней и ночей там забивали мулов и лошадей, а затем прикладывали к каменной стене большие куски дмящегося мяса. Схваченное морозом, мясо намертво примерзало к скале — так возводилась самая удивительная

в мире лестница, по которой потом и занесли в неприступную пещеру награбленные ценности.

Гора эта высится и сейчас, а пещера в ней чернеет так же, как и столетие назад. Только не тоненькая тропинка, поотоптанная копытами мулов и лошадей, а хорошо накатанная дорога огибает ту гору. И как же было не выйти из машины и не рассмотреть, задрвав голову, загадочное отверстие! Оно казалось нам снизу величиной с тарелку, хотя мы уже знали, что туда запросто могла въехать грузовая машина.

Жутко было смотреть на неприступную крутизну и представлять себе фантастическую лестницу из примерзшего мяса, а на ней — муравьиные фигуры, выполнявшие волю грозного своего властелина. Я, возможно, и не поверил бы этому старинному преданию, если бы собственными глазами не видел овринги, кое-где ещё сохранившиеся на Памире. В дичайших саях, в неприступнейших местах, где самая тонкая тропка обрывается над грозным потоком, и впереди — только отвесно стоящие скалы, где не проползти даже муравью, а не то что человеку, местные таджики прокладывают овринги. Находят в скале едва заметные трещины и забивают в них кольшики. Кольшек за кольшком, кольшек за кольшком, все выше и выше, на головокружительную высоту: сорвёшься — трижды умрёшь, пока долетишь до земли или воды. А потом кольшики эти переплетаются ветками, настилаются старательно подобранными каменными плитами, и овринг готов. Узенький, шириной в десяток сантиметров серпантин — дьявольское сооружение, пригодное лишь для тех, кто родился в горах. Даже альпинисты, рассказывал Анатолий, боятся сразу ступить на это шаткое сооружение, даже они бледнеют и прижимаются к скале, когда под ногами над бездонной пропастью вдруг зашевелится плита или затрещит, прогибаясь, бог знает когда забитый кольшек, а ты ничем не застрахован: только скала, и под ногами — бездонная пропасть. А они, горские таджики, спуют по этим дьявольским сооружениям с таким видом, словно у них под ногами душанбинский асфальт. Однажды мне стало нехорошо, когда я увидел таджика, который не только сам поднимался по оврингу, а ещё и нёс на плечах малыша...

Зор-Бурулюк! Высокогорная долина с пересохшим руслом, в котором только в конце июня, когда в горах бурно начинает таять снег, появляется вода. Отшумит, пронесётся в своём древнем ложе, исчезнет бесследно, и снова зажелтеет сухой перемытый песок, заискрятся россыпи полевого шпата и кварцита, а уж тогда ходи — не зевай, всматривайся до боли, до судорог в глазах, не сверкнет ли среди этого моря огня холодная искорка топаза, вымытого высоко в горах? Не зарозовеет ли целомудренно скаполит, прикрываясь от пылающего солнца халцедоновой кепочкой? Не ударит ли в глаза чистейшей синью благородный сапфир, не запылает ли драгоценный рубин только что пролитой голубиной кровью? А то и сам турмалин, заветный кристалл Анатолия, чего доброго, засияет радугой...

— Турмалины! Многого вы, ребята, хотите! Я десятый год тут вкалываю, облазил всё вдоль и поперёк, а даже намёка не встретил...

Всеволод Митрофанович Дроздов — старожил Зор-Бурулюка и всего Восточного Памира. Белая, как вершины окрестных гор, голова, собранное в окаменевшие морщины лицо, неестественно светлые, пронизывающие глаза на фоне почти чёрной кожи: хоть отмывай, хоть скреби стальной щёткой — не побелеет! Сколько же лет этому человеку? Сорок? Пятьдесят? Шестьдесят? Дорого же даётся постоянное пребывание на крыше Памира!

Приземистая, с каменными стенами хижина, узенькие, словно старинные бойницы, окошечки, грубо сбитый стол, топчан и пенёчки вместо табуреток. Сам Дроздов, кухарка и шофёр — такие же просмоленные солнцем и ветром, да ещё грузовая машина-полуторка с начисто ободранной краской, отполированным до невыносимого блеска металлом, будто по нему старательно прошли наждаком, — вот и всё его хозяйство.

— Скаполиты нашёл. Завтра поведу — покажу.

И высыпал на стол несколько десятков кристаллов.

Мы замираем: на тёмных досках — застывшие в кристаллах солнечные лучи. Застывшие лишь внешне, в гранях плоскостей, а там, в глубине,

под прозрачной плёнкой, встревоженно мечутся во все стороны, вспыхивая золотистыми зайчиками; вот-вот вырвутся из векового плена, и тогда вся эта низенькая хатёнка озарится реликтовым светом, пойманным ещё в ту пору, когда наша Земля была на много миллионов лет моложе. Потом, уже в палатке, мы с Анатолием возбуждённо говорили об этих кристаллах, о Зор-Бурулюке!

Стояла холодная высокогорная ночь. Гирштейн, Крат и Григорий Михайлович остались ночевать с гостеприимным хозяином, а мы с Анатолием решили натянуть палатку: в хижине стоял неистребимый дух овечьего помёта — ещё недавно пастухи здесь держали овец. Наша палатка представляет собой альпинистское сооружение, приспособленное к тому, чтобы ставить её высоко в горах: лёгкая, удобная, не нужно ни морочиться с кольями, ни носить с собой металлическое крепление. Зато в ней не разгуляешься — два надувных матраца едва ложатся рядом; вот такой уютненький гробик — два на полтора. Да тут ещё и Всеволод Митрофанович предупредил: ночью может выпасть снег.

И действительно, едва мы угнездились, как ветер, до сих пор сильно тревоживший палатку, словно испытывая её на прочность, вдруг затих, а над нашими головами разнёсся сухой шелест. Как и всё на Памире, здесь и снег был сухой, и когда падал на кожу, то только лишь охлаждал, а не увлажнял. Шелестело всё сильнее, сыпало всё гуще. Я сначала подумал было с досадой, какой там, к дьяволу, может быть завтра поиск, ежели вот так будет мести всю ночь? Покроет всё с головой. Но тут же и утешился, вспомнив: а солнце! Горячее памирское солнце, способное за несколько минут расправиться с любым снегом. И так тепло, так уютно стало лежать в палатке под непрерывный этот шелест, что даже жалко было засыпать. И я, чтобы отогнать сон, переспросил Анатолия:

— Так как, найдёте завтра свой скаполит?

— Обязательно найду!

— Дроздов же там всё выклевал.

— Мой оставил.

— Напрасно вы всё же отказались. Найдёте или нет, а кристалл бы уже имели.

Анатолий повернулся ко мне:

— Уважаемый Андреевич, сразу видно, что вы никогда не были геологом. Знаете ли вы, что такое профессиональная слепота?

— Не знаю.

— То-то и оно!.. Почему Дроздов облазил весь Зор-Бурулюк, а нашёл лишь скаполиты? Да и то случайно.

— Потому что кроме скаполитов здесь, очевидно, ничего нет.

— Вы так думаете?

— А почему же тогда?..

— Потому что Дроздов всю жизнь ищет пьезокварц... Только пьезокварц... И замечает только лишь то, что связано с этим оптическим кристаллом. Вы думаете, только в физике или в медицине узкая специализация? Мы, геологи, слава Богу, тоже не плетёмся в хвосте... Веду поиск угля или нефти — пройду по алмазам, даже не наклонюсь. Подошвы о них, проклятых, сотру, а не замечу. Разве что в следующий раз это место буду обходить стороной... Агат?.. Турмалин?.. А что это такое?.. С чем их едят? Памир беден на драгоценные камни! Кто это сказал? Ходят только по долинам, землю носами роют, вверх глянуть некогда! А желуди над головой висят! Над головой, уважаемый!.. Есть у меня мысль... Идея одна... Покопался я в литературе, сопоставил — там кое-что имеется, уважаемый. Вот перейду работать в "Самоцветы" — попытаюсь приоткрыть этот ларчик. Так что годика через два приглашаю вас на Зор-Бурулюк...

Только теперь я понял, что он поехал с нами не случайно.

— Вы что, в самом деле хотите перейти в "Самоцветы"?

— Есть такая мыслишка.

— А возьмут?

— Вы о моих ногах? — спросил он жёстко. — Три года назад просил-ся — отказали. Именно из-за ног. Как ты, мол, по горам будешь ходить? Там, дескать, физически здоровые сезон не выдерживают, а ты ведь калека...

— Ну, какой вы калека! Дай бог здоровому за вами угнаться!

— А я теперь не с голыми руками к ним явлюсь — золотце им принесу, — как будто не услышал меня Анатолий.

— Вы нашли золото?

— Нашёл. На семитысячнике. Такая аккуратная медалька, на ленточке муаровой. За сложнейшее стенное восхождение. На всесоюзных сборах.

— Что же вы раньше не показывали?

— А к чему она вам? Для коллекции вашей непригодна. Вы ведь, насколько я помню, интересуетесь только агатами.

Но его насмешливый тон сейчас на меня не действует.

— И вы поднимались на семитысячник? С вашими ногами?

— Было такое дело.

— Так вы что же, ещё и альпинист?

— Тоже, кажется, угадали.

— Вы не обидитесь, если я вас ещё о чём-то спрошу?

— На вас, Андреевич?! Что вы! — снова насмешка в голосе. Ну и колочий же человек!

— Стоп своих... вы когда лишились? На семитысячнике?

— Нет, не на семитысячнике — отнёс их немного ниже. На Ключевскую. Есть такая сопочка на Камчатке, может, слышали?

Ещё бы! Кто не знает о Ключевской сопке — знаменитом вулкане на Камчатке!

— Вы что, жили на Камчатке?

— На Камчатке не жил — на Камчатку свои стопы отвёз. Молодой был, глупый, вот и показались они мне лишними... А не пора ли нам хоть немного поспать? Учтите: Всеволод Митрофанович поднимет всех на рассвете.

Конечно, пора. Но я ещё долго не могу заснуть: думаю об Анатолии.

## II

Думаю об Анатолии. Все время думаю об Анатолии. Хотя, кажется, со временем эти мысли понемногу меркнут... Нет, даже не мысли. Мысль можно прогнать, забыть, наконец, отмахнуться от неё... Нет, какое-то беспокойство, глухое и постоянно ощутимое, как глубоко загноившаяся боль, которая, куда бы ни шёл, что бы ни делал, а она вечно с тобой, она в тебе... Это неотступное беспокойство жило во мне и год, и два после совместного нашего путешествия на Восточный Памир. И чем больше проходило времени, тем сильнее я проникался судьбой необычайного этого человека.

Более или менее регулярно переписывался с Анатолием (преимущественно осенью и зимой: с мая по ноябрь он исчезал из Душанбе, поскольку устроился все-таки в "Самоцветы" и дорвался до своего Зор-Бурулюка. А посылать туда письма — всё равно, что по воде их пускать). Писал я в Душанбе и получал аккуратно ответы, и уже знал о золотистых топазах, и о скаполитах редкостного фиолетового цвета, которые дадут сто очков форы всем амethystам в мире, и о гранатах, а ведь это только начало, ещё ведь и не копнули как следует, потому что не доходят руки до всего. Похоже на то, что богиня Пандора в самом деле вытряхнула над Зор-Бурулюком если не весь свой знаменитый ящик, то по крайней мере значительную часть его. Знал я уже и то, что Анатолий буквально за один сезон из рядового геолога вырос в старшего геолога партии, хотя, наверно, не очень жаждал этого, и, представляя себе, как он ежедневно отправляется в длиннющие свои маршруты, как преодолевает крутизны и спуски, я стал ловить себя на том, что иногда пробую идти не всей ступней, а на одних лишь пятках. Десять, двадцать, наконец, тридцать шагов — и всё, и дальше не мог. Так ведь я по асфальту, по ровному! За каждой строчкой, за каждым словом очередного моего письма стояло одно: как вы ходите? Ну, как вы там ходите?

Я, разумеется, не мог об этом прямо писать, чтобы не обидеть человека. Не позволяя себе и намёка, хотя всё время думал об этом. И мне уже иногда казалось, что у меня самого пятки покрываются водянками, кровавыми пузырями...

А он писал бодрые и едко-иронические письма. Дескать, вы, белоручки, оранжерейные существа, шаркуны паркетные, — что вы знаете о настоящей жизни? И каждый раз звал к себе в горы. Но однажды получил вдруг уже не письмо — посылку. Урюк и кишмиш. Полный ящик кишмиша и урюка. А сверху небольшая записочка: “Ешьте, только осторожнее”. Стало быть, посылка с секретом: я уже хорошо знал, что за ягодка Анатолий. Застелив целлофановой скатертью стол, стал осторожно высыпать присланное сушеное. Небольшой пакетик. И снова аккуратно выведенная надпись: “Такие кристаллики у вас на Крещатике не валяются, не правда ли?” Сердце моё екнуло, я осторожно развернул бумагу. И обмер. Там лежал слайд.

Достал проектор, посмотрел: кристалл величиной с мизинец. Нереальный, фантастический, найденный не на нашей грешной Земле, а на какой-то далёкой планете. Три цвета переливались в нём: зелёный, голубой, розовый. Нежные и чистые, как дыхание весны, и в таком гармоническом соединении, которое могла создать одна только природа. Я ещё не видел ничего более красивого и носился с этим кристалликом весь день, а ложась спать, положил его под подушку. И всю ночь мне снились полихромные турмалины. Будто я собираю их над речкой: огромные кристаллы такой совершенной красоты, какая может только присниться.

А утром, ещё глаз не раскрыв, уже знал, что поеду. Что никакая сила в мире не удержит меня в Киеве, как только там, в Душанбе, геологи отпрявлять в поле. Придётся, конечно, повоевать с домашними, которые каждый раз допытываются, почему я так жажду свернуть себе шею где-то за пять тысяч километров, а не на пороге родного дома. Женщины остаются женщинами, и могущественный клич Охотника никогда не прозвучит в их заземлённых душах. В тысячный раз придётся давать обещание не бросаться вниз головой в каждую пропасть, не прыгать в ледяные потоки, не забираться на семитысячники, не дразнить змей, а тем паче медведей, которые, облизываясь, будут поджидать за каждой скалой, а особенно не поднимать ничего тяжёлого. “Не забывай о своём радикулите! И тебе уже не восемнадцать лет! И когда ты уже поумнеешь, горе ты наше!..”

Пожалуй, никогда. Потому что уже и билет в кармане, и огромный за плечами рюкзак, и тяжеленная сумка в руке... Обвешанный, как ишак, я выхожу, покачиваясь, во двор, где меня уже ждёт такси, а в Борисполе нетерпеливо подёргивает крыльями авиалайнер. Он перенесёт меня за какие-то четыре часа в Душанбе. А в боковом кармане, у самого сердца, как заветный пропуск в рай, пригрелся маленький кристаллик удивительной весенней окраски.

Потом был Душанбе с его почти тропической жарой (ведь лето в разгаре), с фантастическими рынками, где арбузы поднимаются горами, а дыни стоят, как древнегреческие амфоры, разве что только без ручек; где прямо на земле, на расстеленных кошмах, сидят седебородые аксакалы, попивая зелёный чай; Душанбе с пропечёнными солнцем улицами и журчащими арыками; со смуглыми женщинами, в сравнении с которыми наши красавицы кажутся, извините, чуточку полинявшими; с разговором таджикским, русским, а иногда и украинским. Шагают себе две такие неистребимые тётеньки с узлами за спинами, как будто у себя в Лубнах, и все горы им, как говорится, до лампочки... Новейший этот Вавилон, в который превращаются все современные города, оглушил, закрутил и вытолкнул меня на одну из боковых улочек, где в дремотном покое среди глинобитных стен и плоских крыш застыли столетия...

А затем снова аэропорт, и суматошная посадка на самолёт, который безбожно задержался, теперь уже на Хорог, когда я, сдавленный со всех сторон, пробкой проскочил через контрольный пункт, а рюкзак мой остался по ту сторону, и сердитые контролёры никак не могли понять, почему этот гражданин, которому посчастливилось прорваться в аэросервисный рай,

вдруг словно сумасшедший снова пробивается в посадочный ад. И раскалённая кабина самолёта, в которой можно было запросто вола ступить; и опять же седобородые аксакалы, важные и невозмутимые, которых не удивишь никаким самолётом, поскольку всё равно не поднимаешься выше Аллаха; и таджички, усеянные детьми, будто маком, у каждой — собственный детский сад; и деловитый рёв турбин; и хребты внизу, поднимающиеся всё выше и выше, как бы кичась друг перед другом пышностью своих снежных шапок; и глубокие долины с тоненькими ленточками речушек; и синева неба, и всё мощнее гул самолёта, порой перерастающий в звон; горы всё выше и выше, и нет им конца. Но вот хребты расступились, словно разрубленные пополам гигантским топором, сверкнули воды бурной реки, и мы стали осторожно спускаться в долину, где среди высоких тополей засветлели аккуратные домики: Хорог, административное сердце Памира, центр Горно-Бадахшанской автономной области.

Пять суток адаптации под Хорогом, в Поршневе — теперь уже административном центре памирских геологов, где днём такому, скажем, как я, можно одуреть от тоски и безлюдья. Спасают только вечера, когда общий чашек-чифирок собирает вместе геологов, которые почти ежедневно сваливаются с высокогорных перевалов, одичавшие, заросшие, как дикие кабаны, щетиной. Тут уж только наставляй уши и слушай, хотя попадаются порою такие молчуны, что хоть бей его геологическим молотком, всё равно слова не высечешь!

А потом снова самолёт, тот же трудяга Як-40. Бесстрашно взмыв над самой речкой, он сразу принимается осуществлять свой привычный акробатический полёт в Мургаб: слева скала и справа скала, и расстояние между ними — на размах крыла, зацепится — поминай как звали, а вот впереди вырастает крутой лоб, наглухо замкнувший ущелье. Впиваешься ладонями в кресло: ф-фу, кажется, пронесло, а “Як”, заложив головоломный вираж, так, что небо, кажется тебе, провалилось под ноги, проскакивает это адское лобище, едва не коснувшись его брюхом, и уже летит к другому, ещё более тесному ущелью.

Господи, да неужели нельзя подняться на какой-то там километр выше, чтобы не выделять эти смертельные трюки?

Оказывается, нельзя. Самолёт и без того достиг своего потолка в разреженном океане воздуха. Лишь теперь я догадываюсь, почему так долго не было воздушного сообщения между Хорогом и Мургабом.

Продутый всеми на свете ветрами Мургаб встретил нас обычной пылью. Ветер швырял её в лицо пригоршнями, гнал по широкой улице меж одноэтажных домов, закручивая в миниатюрные смерчи, а по тротуарам в ярких платьях, в модельных туфельках, в моднейших причёсках отважно прохаживались молоденькие женщины — каждая непременно с коляской. Казалось, грудной ребёнок стал здесь такой же необходимой деталью туалета, как губная помада или сумочка, — без младенца неприлично появляться на люди.

Налобовавшись вдоволь на этих отчаянных молодых женщин, топтавших Памир с таким видом, словно под острыми каблучками каждой лежали тротуары Ленинграда или Киева, я поймал, наконец, попутную машину и знакомой дорогой отправился на Зор-Бурулюк, где и прожил почти два месяца.

Тонкая парусина палатки, не знавшая ни минуты покоя, разжаренная спасительница-печка, мурлыкающий чайник (замурзанное существо, которое никогда нас не подводило), полные кружки горячего чая, конвульсивная лампочка, то гаснущая, то снова вспыхивающая под стук движка, — редкостные вечера, с таким нетерпением ожидаемые мной, когда мы с Анатолием остаёмся вдвоём, и никто уже не зайдёт к нам, не перебьёт нашего разговора.

— Так на чём мы остановились? — спрашивает Анатолий каждый раз, хотя, лукавый хитрец, сам, конечно, помнит, на чём.

Пока я перелистываю блокнот, рассматривая при тусклом свете свои торопливые каракули, он прихлёбывает чай, время от времени вытирая лицо и шею полтавским рушником, вышитым красными петухами. Украинские эти петухи уже не один год путешествуют за своим непоседливым хозяином.

Читаю последние записанные фразы, Анатолий кивает головой, отодвигая кружку:

— Так что, пойдём дальше?

И мы идём дальше.

Понемногу, из вечера в вечер блокнот мой заполняется. Не расстанусь с ним ни днём, ни ночью, так боюсь его потерять, а когда придёт время ехать домой, не суну его ни в сумку, ни в рюкзак, а спрячу в кармане. Дома же положу в письменный стол, где он и пролежит более двух лет, и вспоминать о нём я буду каждый раз, садясь работать. Но не буду вытаскивать: ещё не время, не пришла пора, ещё не вызрело. А когда, наконец, засяду работать над повестью и прочитаю написанное, то с ужасом почувствую, что мне не хватает деталей. Тех самых мелких, на первый взгляд, совсем маловажных деталей, без которых, однако, невозможно настоящее писание. Это всё равно, что вышивать рушник одной лишь иголкой, без цветных ниток... В отчаянии я позвонил Анатолию в Душанбе: не приедет ли он в отпуск на Украину? (Отпуск у него, как у большинства геологов, всегда приходится на зиму.) Нет, не приедет, будет готовиться сдавать кандидатский минимум. Если я не возражаю, можем встретиться в Москве. Его вызывают в “Кварцсамоцветы”. — Если хотите поглядеть на московских девиц, то берите билет на самолёт!

Там, на Памире, он давно позабыл, что куда-то можно добраться и поездом.

А я тем временем поспешил приобрести билет на Москву, хотя девицы меня интересовали меньше всего. Уже собрался и через каких-нибудь пятнадцать минут должен выехать на вокзал, когда раздался звонок междугородной:

— Вас вызывает Душанбе. Анатолий!

— Вы взяли билет на Москву?

— Взял. А что? — у меня шевельнулась тревога.

— Мягкий или купейный?

— Да в чём дело, чёрт вас бери?!

— Дело в том, Андреевич, что билет придётся сдать. Я в Москву не лечу.

— Вы шутите?

— Какие там шутки! У меня сын родился!

— А вы не могли меня предупредить? — заревел я в трубку. —

Вы что, только что узнали, что у вас должен родиться сын?!

— Угадали, Андреевич! — прозвучал радостный голос. — Так что не очень меня ругайте...

— Ругать!.. — я задыхался от возмущения. — Да вас кислым молоком нужно расстреливать!.. Каймаком!.. Кумысом!.. Кефиром!..

— Ничего не выйдет: не долетит!

В трубке щёлкнуло, насмешливо запикало.

Ну и Анатолий!.. Ну и негодник!..

Сердился, ругался, проклиная минуту, когда связался с этим чёртом безрогим, а в душе уже знал, что мне осталось одно: лететь в Душанбе.

Он не был ни поражён, ни удивлён внезапным моим появлением, встретил меня так, словно я не из Киева, а из соседнего парадного забежал:

— Хо, Андреевич!

Руки не подал — руки были заняты: из продолговатого свёртка выглядывало ещё как следует не оформившееся личико, обещавшее в будущем стать ещё одной копией Анатолия.

— Заходите!

По всей комнате, как флаги во время праздника, развевались развешанные пелёнки. Пелёнок было столько, что в них, казалось, можно было запеленать всех младенцев Таджикистана.

— Это всё он, — объяснила жена Анатолия Элла. — Пока я лежала в больнице, он успел ограбить все магазины.

— А зачем размениваться! — глаза Анатолия безудержно смеялись. — Мы на мелкие не считаем. Мы себя ещё покажем! Дайте только подрасти!

— Ну, оседлал свою лошадку! — махнула Элла рукой. — Ты бы, чем хвастаться, лучше подал стул Андреевичу. Он же устал с дороги.

— Андреевич? Да он семитысячники брал — не уставал нисколько!

Анатолий остался Анатолием: весело ошетилившаяся густая шевелюра, насмешливые взлески колючих глаз. И те же обветренные губы, к которым навечно пристал высокогорный загар.

В тот день так и не смогли приступить к делу: всё внимание Анатолия было приковано к крошечному существу, даже тогда, когда Элла брала его кормить. И я, договорившись, что мы встретимся завтра, уехал к себе в гостиницу.

И вот мы вдвоём, только теперь не в палатке, а в номере. Пьём чай, а вид у Анатолия такой, будто он только что вернулся с маршрута, переоделся, умылся, покончил со всеми служебными делами и вот, наконец, присел к нашему самодельному столу... Анатолий, как тогда на Памире, традиционно спрашивает:

— Так на чём мы остановились, если не секрет?

Я раскрываю блокнот и терпеливо объясняю, что нужно начинать сначала. Говорю ему о деталях, которых мне не хватало, без которых мой рассказ начнёт задыхаться, как человек без кислорода. Анатолий кивает головой: это сравнение ему близко и понятно.

— Что ж, давайте сначала.

На миг прорвались тучи, сверкнуло солнце.

— Посмотрите, как чум!

Вулкан и в самом деле напоминал чум. Идеальный конус, который вознёсся на пять тысяч метров. Над аккуратно срезанной вершиной дымит днём и ночью, как будто жильцы этого гигантского шатра всё время мёрзнут, всё время дрожат от нестерпимого холода и непрерывно подбрасывают дрова в огромный костёр. А он все не греет, он только дымит, бухает паром и пеплом и столбом поднимается в небо, когда тихо, или трепещет, обрываясь, на сумасшедших ветрах. А подступы к девственно белой громаде забиты таким глубоким снегом, что шагу не ступить без лыж, скованы таким лютым морозом, что леденеет воздух. И здесь, внизу, у подножия, густой от мороза туман, белый сумрак поглощает, вбирает, гасит всё: и звуки, и движения, и человеческие фигуры, облепленные инеем, которые, кажется, и не движутся, а толкуются на месте, как проклятые, упрямо уминая снег. Не люди, а привидения в зыбком нереальном мире, в молочном пространстве, где от белого молчания веет застывшей вечностью, где хочется застыть тоже на столетия, тысячелетия, как застыли вот эти вздыбленные скалы, скованные нещадным морозом.

Анатолий раздирает запечатанные холодом губы, оборачивается к тем, которые идут позади него:

— Всё, мужики!

“Мужики” останавливаются, наваливаясь телами на палки. Дышат, как загнанные лошади. Семь часов, с семи утра до двух, не останавливаясь, не разгибаясь, по снегу, что до пояса, сквозь белый, как вата, туман, в котором не видно ничего, только покрытая инеем спина товарища, идущего впереди, да отупляющий скрип лыж, и мысль, туда ли идём, не сбились ли с дороги, и усталость, горячая, насыщенная потом, всё сильнее обливающим тело. Семь часов безостановочного движения за этим сумасшедшим, который не останавливается ни на секунду. Оставалось только сцепить зубы и отчаянно месить этот снег.

Обед.

А они всё ещё стоят белыми привидениями. Белые штормовки и куртки, белые рукавицы и штаны. Белые шапки и капюшоны, белые маски и шарфы, прикрывающие лица. Только глаза блестят сквозь узенькие щёлочки, и кажется, что и глаза уже седые, аж белые-белые у всех.

Разминая снег, вытоптали небольшую площадку. Достали примус, кастрюлю, консервы. Молча, без слов, без напоминаний: каждый знает, что должен делать.



Трудолобивой пчёлкой зашумел примус, и туман как будто расступился, и мороз вроде как ослабел, и как-то даже уютно стало на этом небольшом пространстве, отвоёванном у безмолвной вечности. Они сидели на рюкзаках, похожие на фантастические существа, вылепленные из снега; ели, не остужая, огнём заправленную кашу; пили, обжигаясь, из алюминиевых кружек кипятков. Жадно вбирали тепло, запасались теплом на очередной бросок, всё вверх и вверх, где с каждой сотней шагов будет становиться всё холоднее. Сколько сейчас? Минус тридцать пять? Стало бытть, там, наверху, будут все пятьдесят, если не больше. Да плюс воздух разреженный, да плюс жгучий ветер...

Так как, “мужики”? Может, кто хочет назад во Владивосток? Где сейчас только десять, ну, от силы пятнадцать. Где зима мягкая и ласковая...

Допили молча чай, спрятали посуду.

— Лыжи оставляем здесь, — сказал Анатолий. — Дальше на лыжах не поднимемся.

Выходит, впереди уже, собственно, вулкан. Ключевская, царица Камчатки.

Начинают складывать из лыж пирамиду. Хотя ещё, кажется, можно бы немного и пройти. Но приказ старшего в группе выполняется безоговорочно: таков закон альпинистов.

— Минутку!

Сергей-рыжопер. Рыжопером его прозвали за то, что носил огненно-рыжую, как у лисы, шевелюру. А “опер” — от оператора: таскал с собой портативный киноаппарат — для будущего фильма.

— Станьте вот так. Плотнее, для исторического кадра.

Потом все эти кадры будут изучаться в разных инстанциях. Разные служебные особы будут делать разные предположения и выводы. Но они ещё ничего не знают. Они просто стоят, плечо к плечу, локоть к локтю, не замечая чёрной тени, зловеще застывшей над ними.

— Готово! Мерси!

С медвежьей галантностью Сергей кланяется и взмахивает перед собой рукавицей. Как будто в ней шляпа из восемнадцатого века.

— Всё?.. Тогда двинули. Пошли, пока не стало смеркаться.

Фирн, уплотнённый снег, громко скрипит под ногами. Появляются скальные выступы. Чёрная, продутая ветрами порода выступает хребтами ископаемых ящеров. Идти было бы легче, не будь крутизны, которая с каждым шагом становится всё ощутимее. Ногу нужно не просто ставить — вбивать в снег, чтоб не съехать вниз. Шаг — удар, шаг — удар. Сколько шагов, столько и ударов. Ветер, который свистит всё сильнее, продувает уже и одежду, бросает в лицо миллиарды колючих снежинок. Зазеваешься, подставив оголённую кожу — начисто сдерёт и кожу. Шаг — удар, шаг — удар... Скоро ли дойдём? И дойдём ли вообще?

Вперёд, “мужики”! Короткий отдых — бросок... Передышка — бросок... Всё выше и выше, преодолевая усталость, густо осевшую на мышцах. А горные ботинки — трикони — с каждым преодолённым метром становятся все тяжелее.

И уже начинает недоставать воздуха. В перегретых лёгких кислород сгорает, как порох: вспышка — не остаётся и следа... “Ещё кислорода, ещё!” — взывают уставшие мышцы. Хочется сорвать этот шарф, который, обледенеv, закрывает доступ воздуха, выбросить его к чёрту, как ненавистное существо, или упасть на фирн мокрой спиной, разбросав руки, и занеметь...

Вперёд, “мужики”! А почти все “мужики” ещё не переступили двадцатипятилетний рубеж. “Четверть столетия, — говорит Володя Берсенев, друг Анатолия. — Четверть столетия — чувствуете, чем пахнет?!..” А чем, Володя, пахнет сейчас этот небольшой подъёмчик? Эта горка, которой ни с того ни с сего захотелось подняться на пять тысяч метров? Да ещё зимой, в самые лютые морозы... Это тебе не самбо, не прыжки с парашютом, не подводное плавание!.. “А иди ты!” — слышится весёлый голос Володи в голове Анатолия, ибо Володя и ответил бы именно так, всегда весёлый, никогда не вешающий нос Володя. Этот красавец блондин, по которому тайком вздыхают

девушки не только их курса... Куда делась твоя атлетическая осанка, Володя? Посмотри только на себя: чучело чучелом!.. “Пошёл ты, знаешь, куда?” — ещё веселее отвечает Володя: рассердить его — вещь почти невозможная. Ну, топай, Володенька, топай. Только не очень старайся: ещё гору завалишь. Камчадалы нам тогда и ноги поотрывают...

Вот так, мысленно шутя, идти как будто бы легче...

— Всё, мужики! На сегодня достаточно.

Семь часов. Фиолетовые сумерки окутывают вулкан, поднимаясь с ним наперегонки. Там, внизу, колышется густым океаном туман. А может, и облака — две тысячи семьсот над ногами! Если не врёт альтметр. И из того океана, расколышенным над свинцовой беспредельностью, выступают вершины других вулканов — застывшие великаны, скованные морозом гиганты. Впереди, позади, направо, налево — сколько может охватить взгляд, до самого горизонта. Выступают чёрно-белыми громадами, диким хаосом, титаническими всплесками, когда миллионотонные камни взлетали до небес.

— Да-а...

— Ради одного этого вида стоило попотеть!

Стоят, ошеломлённые грандиозностью зрелища, развернувшегося вокруг. Где ещё увидишь такое? Стоят, забыв об усталости, о разреженном воздухе, о рюкзаках, от которых давно нужно освободить намозоленные плечи. О ветре, который строгаёт уже так, что дай Бог удержаться на ногах. А им ещё ставить палатки. На этом продуваемом склоне, где камушек не удержится, запрыгает вниз, где рюкзаки нужно пришивать к синему фирну ледорубами, а для ноги не найти ровной площадки. Две палатки из лёгкой ткани: базовый лагерь, который будет их ожидать, пока они, “сделав” эту “горку”, повернут назад.

— Ну-ка, мужики, за работу!

Засветели ледорубы, вгрызаясь в фирн. Брызнул осколками спрессованный снег. Вырубали большие “кирпичи”, выкладывали их аккуратной стеной. Вот когда пригодились практические занятия на своеобразном полигоне под Владивостоком! Из “кирпичей”, которые там нарубали во время тянувшихся месяцами занятий, можно было бы выложить высотный дом.

Становится жарко, не хватает воздуха. А тут ещё этот шарф, насквозь промёрзший! Не ткань — кусок льда. Развязать его, швырнуть под ноги...

— Пашка, надень!

Ч-чёрт! У него что, и в затылке глаза? Стоял же за спиной...

— Ты что, хочешь сжечь лёгкие? Немедленно надень!

И Пашка, которого почему-то прозвали Пашкой-лейтенантом, покорно надевает ледяной этот хомут. Заледеневшую эту мuku. А как свободно дынулось было незакрытым ртом!

Удар... Ещё удар... Глубже и глубже. Снег становится всё более подвижным, он уже пересыпается с сухим шорохом, и ветер, врываясь, выдувает его из-под руки. Ещё раз... ещё раз... Сцепив зубы, собрав все силы. Каждый, как может, каждый по-своему. Володя замахивается так, словно перед ним не снег, а взбесившийся от злости медведь: или он зверя — или зверь его. “Эх!.. Э-эх!..” — бьёт, приседая. Силушка есть, слава Богу, всю на подъём не растратил. Пашка-лейтенант долбит с таким видом, будто вот-вот сядет и расплатится. Не от отчаяния — от злости. Сережка-рыжопер зарылся в снег, как барсук, выгребает, аж пыль идёт. Один Якубенко работает так, будто делает он это ежедневно: спокойно и буднично. Видно, что ему это не впервой. Виктор среди них самый старший, он единственный переступил двадцатипятилетний рубеж и к тому же не один год ходит в горы. Ему по праву и быть здесь старшим, а не Анатолию, если бы не трагический случай на далёком Кавказе и гибель напарника. Дисквалифицировали, начиная всё с азов. Альпинистские законы столь же беспощадны, как и естественный отбор: если ты ошибёшься, оступился хоть раз — прими как должное самое суровое наказание. Потому что почти каждая ошибка фатальна.

Наконец, площадка расчищена, огорожена снежной стеной. Можно натягивать палатки. Ставят две, каждая рассчитана на два человека, а если лечь, как шпроты в консервной банке, то как раз для четверых. А если ещё

плотнее, так, чтобы рёбра трещали, то освободится немного места для рюкзаков и обуви.

Ветер разошёлся не на шутку: постоянный пронзительный свист, выматывающий душу, ни на секунду не даёт забыть. Ткань палатки бешено плещется, сухой снег сечёт, как ножами, вот-вот сорвёт, швырнет вниз. Сон уже не сон, тревога, не покой. Хоть бы быстрее кончилась эта ночь, лучше уж идти, нежели лежать вот так в ожидании неизвестности.

В соседней палатке звучит смех. Не иначе, Пашка-лейтенант рассказал очередной анекдот. Его хлебом не корми — дай посмешить народ. Анекдоты для него, как болезнь, как эпидемия: о чём бы ни шла речь, обязательно вяжется в разговор:

— К слову, свеженький анекдотик!

Сперва его слушали охотно, смеясь, потом стало приедаться. И в самолёте, в продолжение многих часов, и в Петропавловске, уже в гостинице, и на сейсмостанции под Ключевской звучал неугомонный его тенорок:

— Кстати, свеженький анекдотик...

Анатолий улыбается, вспомнив, как Якубенко придумал отучить Пашку от привычки рассказывать анекдоты. Было это позавчера на сейсмостанции. Едва Пашка, заранее улыбаясь, стал рассказывать очередной анекдот, все дружно закричали:

— Борода! Борода!

То есть анекдот с бородой. Сто раз рассказанный, сто раз слышанный.

Пашка умолк, ещё не предчувствуя, что его ждёт впереди.

— Кстати, свеженький анекдотик, — ввязался он снова в какой-то разговор.

— Борода! Борода! — закричала вся честная компания.

В Пашкиных беспечных глазах затрепетало смятение. На этот раз он молчал минут десять, выбирая из своего необъятного репертуара такой анекдот, который был бы свежим, как только что испечённая булочка.

— Однажды француз, немец, англичанин и русский, — начал он, беспокойно ёрзая, — стали рассказывать о собственных жёнах...

— Борода! Борода! — дружно прозвучал хор.

Пашка онемел. В его глазах застыла растерянность. И когда через полчаса, собравшись с духом, он попытался рассказать ещё один анекдот, в его голосе было столько мольбы, что дрогнуло бы сердце самого закоренелого злодея.

— Борода! Борода! — аудитория была безжалостной. Пашка какое-то время хватал воздух ртом, как вытщенная из реки рыба, потом швырнул кружку с недопитым чаем под ноги и, ругаясь, выбежал наружу. В чём был.

— Пойдите, верните, — сказал Якубенко. — Ещё, дурак, замёрзнет.

Весь тот вечер Пашка сидел, как филлин. А утром снова звучал его жинеродостный тенорок: Пашка демонстрировал очередной фокус с картами. Долго сердиться он просто не умел. Анатолий не перестаёт удивляться: на что расходует человек свои силы и энергию! На анекдоты, на фокусы разные, на умение шевелить ушами: ставить их, скажем, торчком, как у породистого пса. И когда над ним смеются, его нос картошкой победно краснеет.

В соседней палатке замолчали: даже у Пашки не хватило больше сил. Ночка — врагу не пожелаешь! Анатолий то и дело возвращался к мысли о доске. Металлическая доска с барельефом Владимира Ильича. К столетию рождения. Они должны были доставить её на Ключевскую. Для того, собственно, и прилетели сюда.

— Толь, почему не спишь? — Якубенко. Лежит рядом, за спиной.

— Вить? — таким же шёпотом. — Где доска?

— Ты что, сдурел?!

Всё в порядке. Теперь можно и заснуть. Обожди, а рация? Нужно проверить. Теперь согреться хоть немного. Свернуть всё тело в клубок, чтобы занять как можно меньше холодного пространства, жадно высасывающего из тебя тепло, сосредоточить это тепло у себя как можно глубже, у самого сердца, плотнее сжаться всем своим существом, защищая его, как огонёк под ветром (пока огонёк горит, и я не погасну), расслабить усталое сознание.

Разогнать, приглушить все мысли, кроме одной: спать, спать... Я уже не слышу ветра. Полотнище стреляет всё дальше и дальше от меня... Я засыпаю... Я сплю...

Я проснулся! Я бодрый! Я отдохнул! Я полон сил!

Встать! Мне несколько не холодно! Энергично обувшись (ботинки будто железные), сразу же разжигаю примус. Седьмой час. Темно, как в сапоге. Ветер свищет, кажется, ещё пронзительнее, чем прежде. Так свистит реактивный самолёт перед тем, как сорваться с места. Такое впечатление, будто гора уже сдвинулась, двигается быстрее и быстрее, вот-вот взлетит на воздух.

— Ну и погодка!

— Чёрт ей не рад!

— Ребята, кто съел мой ледоруб?

— Ещё кипяточка?

— Плесни, если остался...

О чём угодно, лишь бы не о том, что у каждого гвоздём сидит в сознании: сегодня — на штурм! Об этом — ни слова, на это наложено молчаливое табу, которое никому не дано нарушить. Как у солдат, которые перед атакой старательно обходят в разговоре даже слово “атака”.

Выхваченные светом электрического фонаря, мелькают руки, лица, кружки с горячим какао, галеты с кусочками консервированного мяса: наедаются на весь день, потому что там вряд ли удастся поесть. Наконец, с завтраком покончено, в рюкзаки запаковано самое необходимое. Остальное останется здесь, в палатках.

— Аптечку не забыли?

— Вот, у меня.

Потом Анатолий не сможет себе простить, что не проверил аптечку.

— Ну что, мужики, присядем перед дорогой? — хотя и так все сидят: здесь не то что стоять — разогнуться невозможно.

Один за другим вылезают из палатки. За ночь снега надуло — под самую крышу. Посвистит до вечера — занесёт весь лагерь.

Не беда: теплее будет спать. В соседней палатке, пробивая ткань, бегаёт белый круг. Они что, не собрались? Анатолий бьёт ледорубом по стенке, громко кричит:

— Подъём, курортники!

Там кто-то ойкает, палатка конвульсивно вздрагивает, расшвиравшим медведем выкатывается Витька Дахин:

— Ты что, сдурел?!

— По какому месту досталось? — интересуется Якубенко.

— По спине!

— Жаль, что не по затылку! Нашли время отлёживаться!

Тем временем вылезают остальные. Тёмные фигуры кажутся неправдоподобно большими, а движения их — удивительно неуклюжими. Выстраиваются в молчаливую цепочку, оставляют за собой лагерь. Никто даже не оглядывается.

Быстро светает. Всё чётче вырисовывается каменная безграничная громада. Скованная льдами, спрессованная снегом, неприступная, как вражеская крепость. Каждый шаг, каждый метр подъёма даются с боем, с тем человеческим напряжением сил, что на грани возможного, когда выкладываешься весь, до конца, будто этот шаг, этот метр станет последним. Камни и камни, острые выступы скал, где и чёрт ногу сломаёт, а ветер дует прямо в лицо с такой убийственной силой, с такой тупой яростью, что воспринимаешь его как некое живое существо, задавшееся целью сдуть тебя с этой горы. И небо, леденеющее вверху, тоже продето насквозь. И подъём, которому конца-краю нет, отшлифован так, что ногу негде поставить.

Всё чаще остановки — передышка. Безумно стучит сердце, что-то сдавливает горло, хочется чуть ли не руками растянуть лёгкие, чтобы вдохнуть лишнюю порцию воздуха, усталость набивается в тело, больно охватывает перетруженные мышцы. Каждый шаг — *через не могу*, каждое движение — через муку, которую обязан преодолеть непременно, если хочешь двигаться, а не застрять здесь ледяным обломком. Что, “мужики”?

Шаг... Ещё шаг... Ещё... Цепляешься взглядом за вон тот выступ, чернеющий в десяти метрах впереди: только там, ни на сантиметр ближе, — желанный отдых. А до того не смей останавливаться, иди, хоть умри! Всё вверх и вверх. Вперёд и вперёд.

В полдень стал отставать Сережа-рыжопер. Всё чаще останавливался, покачиваясь... Ступит шаг и всем телом навалится на ледоруб... Ступит и навалится... Дышит судорожно, в глазах стынет мука. Анатолий молча подошёл, обвязал шнуром себя, потом — Сергея: давай, не отставай! Держись за шнур! На самых трудных участках на подъёмах-крутизнах почти на себе его вытягивал. Врубался в лёд, вгрызался в скалы; спина трещала, но тянул. Это и называется *идти в одной связке*, когда более сильный ведёт за собой более слабого, менее тренированного. Давай, Серёжа, давай! Не боги брали эту горку — возьмём и мы!

Потом остановился Дахин. Перворазрядник, мускулы, как сталь, а вот высота и его доконала. Анатолий, заметив фигуру, застрявшую в снегу, искал глазами Виктора Якубенко. Но тот уже сам быстро спускался вниз. По схваченной льдом поверхности, тормозя ледорубом, как на коньках. Подъехал, затормозил, что-то, видно, сказал, потому что Дахин подался к нему, и вот уже вторая связка упорно карабкается вверх. Всё выше и выше. Через камни, завалы, стенки, собственную усталость и собственное “не могу”...

— Всё, “мужики”!

Анатолий с силой вогнал ледоруб в спрессованный снег. Как ни жаль, а нужно расстаться с мыслью уже сегодня побывать на вершине. Выйти на конус, к кратеру, где снег не держится даже в самые лютые морозы, оттого что рядом огонь, идущий из глубины, и лава клокочет на дне. Припасть бы к неостуженным скалам, вобрать бы глубинное тепло всем телом, потому как сейчас все пятьдесят, если не ниже; хоть ветер вроде и ослабел, а мороз — прямо глаза стынут. И смерзаются застывшие веки.

Четыре тысячи метров, сегодня пройдено тысяча триста. Тринадцать минут нормальной ходьбы, там, внизу, на равнине, по хорошо утоптанной дорожке. А они одолевали весь день, уже не метрами считая расстояние — сантиметрами.

— Ребята, а ветер вроде стихает!

— Погодка завтра будет — по заказу!

— Смотри, не глаза!.. Где ставить палатку?

Потому что шестой час. И нужно управиться, чтобы не застала ночь.

Сбросили рюкзаки, стали расчищать площадку. Четверо, которые будут ночевать в палатке, готовили площадку, другие принялись рыть глубокую пещеру в снежном сугробе под острым, как бритва, заступом. Жаль, что нашёлся такой только один: в пещере значительно теплее, чем в палатке. Да спасибо и за этот: чем выше, тем меньше снега. Одни лишь камни и лёд, лёд и камни, а весь снег сдувает вниз. В пещере разместили самых слабых: пусть ребята хоть согрются, по-человечески переночуют. А остальные — снова в палатку.

— Ух, жарко! Финской бани не нужно!

Володя Берсенев. За что его любит Анатолий — никогда не жалуется.

— Спим, мальчики, до двенадцати. Потом меняемся.

Ну, конечно, кто же, кроме Якубенко, берёт это на себя. Любит порядок во всём. Погрелся полночи меж друзьями — и отваливай, грей теперь другого!

— Хорошо, Витя, разбужу — не просплю, — отвечает Анатолий, упираясь спиной в холодную ткань. — Давайте спать!

Но не спится Володе.

— Вот это, ребята, житуха! Чувствуешь, что ты в этом мире не просто молекула. Сделаем Ключевскую, рвану в каникулы на Памир. На семитысячник.

— А на Джомолунгму не хочешь?

— На Джомолунгму? — переспрашивает Володя таким тоном, словно от него одного зависит восхождение на самую высокую вершину мира. —

На Джомолунгму ещё, пожалуй, рановато. Вот сделаю семитысячник, тогда подумаю о Джомолунгме.

— Ты сначала сделай Ключевскую.

— А мы разве где? Не на Ключевской? Нет, завтра я на край кратера обязательно ступлю! Камушек брошу в лаву. Лава, где ты, ах!..

— Ну, пропали девушки! И так по тебе помирали, а теперь, как вернёшься, совсем пропадут! Альпинист, покоритель вершин!..

— Грудь колесом — попа ящичком! — добавляет хулиганистый Володя Пахомов, четвёртый в палатке.

Больше всех смеётся Берсенев. Лишь Якубенко неодобрительно хмыкает: не выносит, как он говорит, словоблудия. И этот разговор на высоте четырёх тысяч метров, в насквозь продуваемой палатке Анатолий тоже запомнит на всю жизнь.

В ту ночь мерзли ещё сильнее, чем в предыдущую. Из-за этого поднялись в пять часов утра. Растопили снег, заварили чаёк, позаливали в термосы какао с молоком: будут обедать уже там, на вершине, опустив ноги в кратер, дышащий жаром, — в этом никто не сомневался. Потому и чувствовали себя, как перед праздником.

— А ветер снова разгулялся.

— Напрасно радовались.

— Ничего, уже недалеко. Толь, может, я пойду первым? За полчаса сбегая. Пока вы тут копаетесь, я и доску прилажу.

Берсенев сегодня весел, как никогда. Даже песню мурлычет. Выбравшись наружу, разбросал руки, словно хочет обнять весь мир:

— Эх, красота! — хотя вокруг ещё почти ничего не видать. Одни лишь звёзды в чёрном небе, а далеко-далеко на востоке розовеет узенькая полоска. Подойдя к норе, чернеющей в снегу, он коннул ногой. — Эй, барсуки, выползайте! Солнце проспите!

“Барсуки” вылезают один за другим, опухшие от сна.

— Не мерзли ночью?

— Нет. Даже жарко было.

Ну что ж, отдохнули как следует — и в дорогу. Анатолию все кажется, что им не хватит времени: подняться на вершину, а потом спуститься в лагерь. К тем двум палаткам. И снова подъём. Идут втроём в связках, первую, как ни прорисил Берсенев, повел Якубенко. Он самый опытный, ему и выбирать самый оптимальный путь в этом обледеневшем хаосе. У него и памятная доска: уж если Якубенко не дойдёт, то не дойдёт никто.

Виктор Якубенко, рыжопер Лобанов и Коробков. Анатолий — во второй, с Виктором Дахиным. Виктор слепо спотыкается, останавливается, протирает всё время потеющие очки, Анатолий уже раскаивается, что взяли его, но как было не взять, если Виктор однокурсник, да к тому же заядлый спортсмен, да ещё и сосед по общежитию, кровати рядом стоят, и никогда не было случая, чтобы Виктор в чём-то подвёл. Разобьётся вдребезги, но делает! Как же такого не взять? Только теперь Анатолий по-настоящему начинает понимать, что не каждого можно брать в горы. Даже если ты мастер по самбо или рекордсмен по прыжкам. В горах имеет значение даже такая мелочь, как очки. Разбил, потерял — и запросто свалился в пропасть. “Улетел”, как принято говорить у альпинистов. Улетел в смерть, в небытие, вспыхнув мгновенной искрой, упрямым земным метеоритом. Лаконичный, сухой, суровый язык тех, кто рвётся на неприступные вершины, выбирая самые сложные маршруты, порой на грани смерти и жизни:

— Куда девался Олег?

— Улетел на Памире.

— А почему замолчал Женья?

— Улетел на Жуковском.

То есть, штурмуя пик маршала Жукова. Улетают, вспыхивают, упорно штурмуя вершины, и если бы жили, то снова отправились бы в горы, по тому же последнему маршруту, до той же полочки, за которой оборвалось всё. И знаменитая песенка мудрых и предусмотрительных: “Умный в горы не пойдёт, умный горы обойдёт”, — песенка эта не для них!

Тройка Якубенко идёт дружно и напористо, Виктор любой ценой решил взять вершину до обеда. Анатолию уже начинает казаться, что они с Дахиным едва ползут, и это всё больше раздражает его. Во время очередной остановки (отдышаться, собраться с силами) посмотрел вниз. Там, на ярко освещённой снежной скатерти с чёрными каменными прорывами темнели три фигуры. “Почему они так отстали? — тревожно шевельнулась мысль. — Не случилось ли чего?” Ту, третью связку ведёт Володя Берсенев. Последнему всегда труднее всех, на последнего — все камни сверху, потому и поставил Анатолий Володю. Как самого сильного. “Всё равно мы будем первыми!” — грозился Володя, недовольный тем, что первую связку повёл Якубенко. “Почему они так отстали? Неужели что-то с Паховым?” О третьем, Пашке-лейтенанте, даже не подумал: для Пашки такие подъёмы не новость, у него первый разряд по альпинизму, а вот Паховов... Володя Паховов на пятитысячнике впервые, да к тому же зимой, когда к разреженному воздуху добавляется ещё и лютый мороз.

Всё чаще стал оглядываться. Нет, всё-таки идут. Задерживает их, скорее всего, Паховов. Тянут, как он Дахина. А Якубенко уже исчез: завернул за невысокий хребет, заслонивший им дорогу. Интересно, сколько от него до кратера?

Только так, остановившись, можно глянуть вверх-вниз. Когда же идёшь, всё внимание приковано к ногам. Каждый шаг нужно взвесить, оценить каждый сантиметр, если не хочешь скатиться вниз. Загоняешь в твёрдый фирн ледоруб, отрываешь пудовую стопу, будто и в самом деле налитую свинцом, переносишь на шаг вперёд. А до хребта, за которым исчез Якубенко, расстояние вроде бы и не уменьшается. Потому что идёшь не по прямой — прямых дорог в горах нет, — а то и дело сворачиваешь вправо-влево, обходя особо опасные места.

Солнце достигло уже своего зимнего зенита, лед горит так, что больно смотреть на него. Всё сверкает, блестит, режет глаз застывшим на морозе огнём.

Который сейчас час? Посмотреть бы на часы, но для этого надо снять рукавицы: сначала брезентовую, потом шерстяную и лишь затем отвернуть рукав. Мороз так и вцепится в руку, он своего не упустит. Вот, наконец, и хребет. А за ним одетое в лёд лобие, как раз по дороге к кратеру. Виктора Якубенко снова не видно, а из-за хребта, оставшегося теперь внизу, медленно выползают три фигуры. Берсенев, Пашка, Паховов.

— Вот здесь Виктор Дахин упустил ледоруб.

Анатолий помечает это место жирным крестом: на схеме, которую он собственноручно начертил в своём блокноте:

— Вы себе не представляете, как я тогда рассердился! — глаза его и сейчас пылают гневом. — Большого позора для альпиниста, чем потерять ледоруб, нет! Это всё равно что потерять во время атаки винтовку. Или автомат. Без ледоруба альпинист просто перестаёт существовать!

От этого места, помеченного чёрным крестом, до вершины оставалось метров пятьдесят, не больше.

— Якубенко был уже там. А Дахин упустил ледоруб.

— А если бы он упустил ледоруб на час раньше? Когда вы ещё были вон там, — показываю я ниже. Примерно в этом месте Анатолий заметил тогда, что связка Берсеньева движется не так быстро, как можно было рассчитывать. И в нём впервые шевельнулась тревога. — Не развернулись бы тогда события совершенно по-иному?

— Что теперь об этом говорить! — отвечает Анатолий сердито. — Все мы задним умом богаты! Если бы да кабы... Жизнь, уважаемый Андреевич, этих словечек не знает. Жизнь ставит перед нами одну-единственную задачу, и решай немедленно!

— Что же вы решили?

— Решил то, что и должен был решить: спускаться вниз. За ледорубом.

— И далеко он залетел?

— Я тогда ещё не знал. Может, метров на пятьдесят. А может, и на все четырёста.

— Это по прямой? А туда-сюда?.. — продолжаю допытываться я. — Ведь до кратера оставалось всего сто пятьдесят! И там уже ожидал Якубенко. Неужели не шевельнулась мысль махнуть рукой на ледоруб Дахина и попытаться подняться с одним?

— Не шевельнулась, — отвечает Анатолий жестко. — Мы должны были найти ледоруб. Куда бы он ни залетел.

Хотя уже тогда он подумал, что из-за этого незапланированного спуска они могут не добраться до вершины. Не побывают на ней вообще. Ведь неизвестно было, как далеко залетел ледоруб! Он об этом, естественно, ничего не сказал Дахину. Только приказал жёстко:

— Пойдём вдвоём!

Потому что Дахин стал говорить, что спустится сам. Он, конечно, хорошо понимал, что значит для Анатолия, как и для каждого из них, в последнюю минуту отказаться от возможности взять вершину.

Ледоруб пролетел метров сорок, не больше. Анатолий увидел его ещё издали, под выступом скалы, и помнит, как с облегчением подумал тогда, что они всё-таки успеют взять вершину. Но тут из-за хребта появился Володя Берсенев, и всё пошло кувырком, и мысль о восхождении, до сих пор безраздельно владевшая им, ставшая для него единственно важной, столь важной, что он, не колеблясь, поступился бы ради неё всем, — эта мысль сразу же бесследно исчезла, растаяла, как дым.

У Володи Берсенева на одной руке не было рукавицы. И шёл он, как пьяный...

— Никогда не смогу простить тем двум, что они не возвратили вовремя Володю, — скажет мне Анатолий. — Не стали сразу же спускать его вниз. Особенно Пашке... Он же не впервые поднимался в горы. Возможно, именно потому и сказал Пашка позднее то самое...

Сказал родителям Берсенева, что это Анатолий заставил Володю идти в гору. Уже тяжело больного... Чужая душа — потёмки. И собственную совесть каждый присыпает по-своему...

Итак, Володя потерял рукавицу. И шёл, как пьяный. И не держал ледоруб: он не упустил его только потому, что ремешок ледоруба был закручен вокруг запястья. Ледоруб волочился за ним, оставляя тонкий, как ниточка, след.

Что сказал Анатолий в то первое мгновение, он так и не смог вспомнить.

— А вы всё же вспомните, — допытывался позже следователь. — Для вас это очень важно.

Почему важно, Анатолий никак не мог понять. Хотя часто старался вспомнить. И не мог. Кажется, спросил у Володи, что с ним. Хотя, может быть, и не спрашивал: и без того знал, что это такое. Когда альпинист начинает идти, будто пьяный, и теряет рукавицы, и срывает шарф с лица, тогда ему недолго осталось жить. Разве что, ежели удастся спустить его как можно быстрее вниз.

Высотный потолок. Существует для гор такой коварный термин. Биологическая пружина, заложенная в каждом из нас, дремлет до поры до времени, пока мы не достигнем обозначенного природой для каждого из нас высотного потолка. Не нарушим фатального табу, несоблюдение которого карается смертью. Где он? На четырёх-, на пяти-, на шеститысячном обозначении — этого каждому из нас наперёд знать не дано. Ни один учебник, ни одна инструкция, ни один врач или профессионал-альпинист, который истоптал не одну пару триконей, преодолевая самые трудные маршруты, не подскажет мне, ему, вам, на какой высоте лежит эта мина, что сработает безошибочно лишь подо мной, под вами, под ним. Все пройдут, не заметив её, наступив на неё, а она терпеливо будет лежать — она ожидает именно вас. И дождётся. Ваш последний шаг — и взрыв-пружина неминуемо сработает. И для вас уже нет спасения. Разве что вниз. Мгновенно вниз!

Из-под обледеневшей маски (маску он сорвать не успел, хотя всё время хватался за неё белой, как кость, рукой) — из-под маски прозвучало какое-то бессмысленное бормотание. Володя, кажется, уже бредил. Бредил на ходу, с широко раскрытыми глазами. И тут Анатолий вспомнил об аптечке.



— Аптечку!

Она должна была быть у Пашки. Он помнит, что сам дал её Пашке. Вдруг показалось, что не Пашке дал — Вите Якубенко. Почувствовал, как пот обжжёт виски. Пашка стал испуганно срывать рюкзак. Цеплялся за лямки плечами, рукавицами, локтями. Сбросил, наконец, положил к ногам, начал развязывать.

“Почему он копается!” — едва не застонал Анатолий. Оттолкнул, схватил рюкзак, вытрусил всё наземь. Сорвал рукавицы, стал раскрывать запечатанную коробку. Эти безымянные аптекари заботились, казалось, только об одном: чтобы коробка открывалась как можно труднее.

— Чёрт! — наконец!.. Камфора! Камфору и следует вводить в первую очередь... Всю эту ампулу... Шприц... — Где шприц?..

Шприц никак не попался на глаза. Всё ещё надеясь, всё ещё не веря, всё ещё не допуская мысли, что шприца нет, что те преступники, злодеи, убийцы забыли его положить между лекарствами, Анатолий рылся и рылся в коробке, потом, не выдержав, вывернул всё на рюкзак. Шприца не было. Было всё: пакетики, баночки, вата, бинты — не было только шприца. Как в страшном сне. Теперь оставалось одно: немедленно спускаться его вниз.

Вспомнил еще про кофе, что в термосе. Налил полную кружку горячей жидкости, попробовал напоить Володю, но тот, сжимая зубы, выплевывал так, будто это был не кофе, а яд. Вниз! Быстрее вниз! Нашли, натянули рукавицы, поправили шарф на лице (кожа уже была белой), взяли под руки: с одной стороны Анатолий, с другой — Пашка. Володя снова что-то неразборчиво забормотал, и бредовое его бормотание резало сердце.

Когда Якубенко сменил Пашку, Анатолий тоже не может вспомнить. Потом уже Якубенко рассказывал, что, встревоженный их отсутствием, он решил спуститься навстречу. Увидев их издалека: три фигуры в обнимку, словно пьяные, а две немного позади, он понял, что произошло несчастье. Отвязался, крикнул ребятам, чтобы спускались следом, и помчался вниз. Удивлялся потом, как сам уцелел.

— Укол! — выдохнул в сторону Анатолия. — Сделали укол?

Только тогда Анатолий понял, что по ту сторону не Пашка, а Якубенко.

Взвалив Володины руки на свои плечи, они спускали его всё ниже и ниже, стараясь не сорваться, не сорваться со скалы, не ступить в кулуар, где дорога одна: прямо в бездну. Они спускали Володю, как собственных матерей бы спускали, готовые лечь под его ноги, лишь бы ему стало легче от этого, а он ступал всё тяжелее, он с каждым шагом всё больше виснул на них. И ватно подгибал ноги. Они шли и шли, моля неизвестно кого — Бога, чёрта, все силы земные и небесные! — чтобы солнце подольше продержалось в небе, потому что должны были добраться до лагеря, хотя бы до тех четырёх тысяч метров, где их ожидала палатка и готовая пещера, где можно было бы раздеть Володю, растереть, согреть его, но время, которое до этого едва тащилось, вдруг как будто сорвалось, помчалось с горы, обгоняя их, замерцало огромным белым шаром, а солнце что есть духу покатилося за горизонт. И как только солнце спряталось, и они нырнули в тень, Якубенко прохрипел:

— Всё! Останавливаемся!

Володя уже не шел — висел на плечах. Высота четыре шестьсот. Мороз ещё злее, чем вчера вечером. И ветер, не знающий пощады. И длинная ночь, которая хищно подкрадывалась к ним, следя за каждым их движением.

Володю посадили на рюкзак и рюкзаками подперли, чтобы не упал, не покатился вниз, бросились искать надувы, где можно было бы вырубить хоть небольшие пещеры. Надувов не оказалось, снег тут просто не мог задержаться, наконец, Пашка наткнулся на какую-то ложбинку и закричал, чтобы все шли к нему, и они ещё никогда с таким остервенением не зарывались в твердеющий, словно на камне замешанный снег. Анатолий отослал лишних ребят поискать место для себя, так как копали втроем: он, Якубенко и Пашка. Воспалённое дыхание, глухие удары в снег или горный скрежет стали, когда ледоруб попадал по камням. Больше всех старается Пашка, он готов был зубами вгрызаться в гору, чтобы добраться до тепла.

— Всё... Давайте Володю...

Володя уже не сидел — лежал, завалившись на спину. В болезненно раскрытом рту из-под почерневших губ синели намертво спаянные зубы. Володя не дышал. Анатолий схватил его руку, ища пульс. Рука была тяжёлой и холодной, словно высеченной из камня, пульс не прощупывался.

— В пещеру!

Затащили в пещеру, затолкали поглубже, забились туда сами: нагреть, согреть, не выпустить ни капли тепла, потому что на тепло последняя надежда — вот Володя согреется, придёт в сознание, придёт в себя и спросит удивлённо: “Ребята, вы что?” Ведь он ещё никогда ни у кого не просил выручки. Не нуждался в этом, сам первый бросался на помощь. А сейчас лежал неподвижно. Сейчас его спасти могло только чудо. И они верили в чудо, верили, что, если у Володи остался хоть один шанс на тысячу выжить, он не умрёт.

Что принесёт им эта ужасная ночь, как они выдержат космический этот холод и выдержат ли вообще — это их сейчас не интересовало. Думали только о Володе, о том, чтобы не дать погаснуть слабеющей искорке жизни, если она в нём ещё есть. Якубенко и Пашка всё время делали ему искусственное дыхание. Прижимаясь к неподвижному телу, отдавая ему тепло. Их сторбленные, скрюченные фигуры, едва уместившиеся в тесной пещере, ритмично качались то в одну сторону, то в другую: вдох — выдох... вдох — выдох... тысячи вдохов и выдохов — до изнеможения, до автоматизма, до отупения, за которым можно не заметить и собственной смерти. И вместе с ними качался в беспамятстве (а может, уже и мёртвый) Володя — то в одну сторону, то в другую сторону. То в одну, то в другую. Ужасный танец на грани жизни и смерти.

Анатолий, заслонив собственным телом вход в пещеру, чтоб хоть немного было тепло, растирал его тело. Руки, ноги, грудь, живот. Тер изо всех сил, не останавливаясь, запрещал себе думать и действительно не думал о собственных ногах, которые, не вместились в пещере, торчали снаружи. И в которые уже вцепился лютой мороз. Да и чего стоили его ноги рядом с Володиной жизнью или смертью!

Прошла целая вечность. Посмотрели на циферблат: уже четыре часа они в этой норе. И тогда они поняли, что всё безнадежно. Володя лежал окоченевший, и от его неподвижной фигуры веяло той застылостью, какую несёт одна только смерть. Отупевшие, опустошённые, вконец измождённые, они прислонились друг к другу спинами и застыли, уткнувшись в колени лицами. Потрясённые тем, что свалилось на них.

А ведь где-то бурлила жизнь. Где-то всходило-заходило солнце, где-то люди млели у растопленных печей, нежились в тёплых постелях, наслаждались теплом, не зная ему цены, пили горячий чай, ели горячие блюда и воспринимали всё это как нечто абсолютно будничное, будто и не бывает пустых промёрзших термосов или насквозь охлаждённой пещеры, в которой они сидят сейчас, застывшие среди вечного холода, чёрного холода, беспощадного холода.

Что теперь будет? Как теперь быть? Что сказать Володиным родителям? Как им всё это объяснить? Мать Володи в тот вечер, в тот последний вечер, когда Володя пригласил Анатолия на прощальный ужин, всё допытывалась... Не сына спрашивала — его:

— Ну, скажите, чего вас туда несёт?

Слушала Анатолия, даже кивала, как бы с ним соглашаясь, а через минуту снова вопрос, полный тревоги и боли:

— Ну, скажите, что вы там потеряли?

“Матери всегда остаются матерями, — думал тогда Анатолий, — и этого им не постичь...”

А сейчас он думал иначе. Сейчас он ненавидел себя за ту свою снисходительность, ненавидел до боли, до стога. Ну, что он ей скажет?

Он не мог больше сидеть на месте. Выбравшись из пещеры, стал собирать рюкзаки, складывать их у входа: чтобы не так задувало. Вспомнил о рации. Но что с неё толку — пятьдесят градусов, питание замерзло. Мороз склеивал губы, даже сквозь рукавицы добирался до пальцев, а ног он уже

совсем не чувствовал. Как будто там, ниже колен, были деревянные колодки: хоть молотком бей — не почувствует. Подумал, что так недолго и замерзнуть, посмотрел вверх, на кратер, который тёмным силуэтом вырисовывался на усеянном звёздами небе. Там, возле кратера, тёплая земля, туда метров двести, ну, триста от силы: подняться бы всем, пока не поздно, согреться, перебыть эту ночь. Представил себе эту землю, вулканический этот пепел, те неостывшие камни, в которые зарывается руками, ногами, весь с головой, аж застонал от наслаждения, — и отогнал от себя заманчивое видение... Кому тогда докажешь, что не бросили тут Володю полуживого? Его отцу? Матери? Другим?..

Деревянно пригнувшись, снова залез в пещеру. К Якубенко и Пашке. Они не спросили даже, что он делал. Сидели и молчали. И просидели вот так, ежеминутно прикасаясь к мёртвому, ещё шесть долгих, как вечность, часов.

Снова было утро, безразличное к тому, что у них случилось и что с ними ещё может случиться. Подметая темноту, зло высвистывал ветер, одна за другой выплывали из темноты дальние и ближние вершины вулканов, небо быстро светлело, яркие ещё недавно звёзды бледнели и гасли, кроваво-красный восток в муках рождал ещё один день.

Володя лежал неподвижный и какой-то вытянутый, лицо его было белее снега, а в смежённых навсегда веках, в строго сомкнутых устах было столько застывшей мудрости, словно ему открылись в эту ночь все истины мира. Словно, расплачиваясь за такое познание собственной жизнью, он ни на минуту не пожалел о цене.

— Я спущусь, посмотрю, что с ребятами, — Пашка как бы извинялся, что не может больше смотреть на мёртвого.

— Сходи, — сказал Анатолий безразличным голосом. Через несколько минут Пашка возвратился:

— Там тоже обморозились.

— Очень?

— Ещё не знают.

— Передай, чтобы немедленно двигались в лагерь. Ты тоже иди с ними. Что делать там — знаешь.

— А вы?

— Мы будем спускать Володю, — ответил Анатолий за себя и за Якубенко, который молча доставал из рюкзака шнур и лишние штормовки.

Пашка надел рюкзак, потоптался на месте.

— Так я пошёл.

— Ага, — Анатолий уже склонился над своим рюкзаком.

— Я, кажется, тоже обморозился.

Пашка ещё немного постоял, ожидая, видимо, реакции Анатолия на это, но тот продолжал молча рыться в рюкзаке.

— Мы вас будем ждать, — сказал тогда Пашка.

Поскрипел снегом и ушёл. Они положили труп на штормовку, свели на груди руки, связали. Натянули на голову капюшон, под который спрятались белокурая шевелюра, надели ещё одну штормовку, уже поверх связанных рук, затянув на ней “змейку”. Стали обматывать шнуром, и обоим казалось, что не человека обматывают — ледяную тяжёлую глыбу — таким холодом веяло от закоченного тела.

Спускались по льду, по снеговому склону, вгрызаясь ледорубами, страхуя друг друга, чтобы не сорваться, не полететь вниз. Спускались, из последних сил придерживая труп, особенно на скальных выступах, на крутых, льдом облитых лбах, где каждый шаг мог стать последним.

— Осторожно!

Анатолий, сорвавшись, в последнюю минуту хватается за камень. Труп, налетев следом, больно бьёт его в лицо. Якубенко, яростно вцепившись в шнур, задерживает обоих.

— Зубы целы? — только и спросил, когда Анатолий вскарабкался наверх.

— Целы, — Анатолий вытирает кровь, капающую из расквашенного носа: вспухнет — глаза закроет.

Передохнули, снова пошли. Плохо слушались ноги. Выворачивались, скользили, подвёртывались. И были, словно деревянные. Взмокли до нитки, хотя мороз не прекратился. Солнце, ветер, мороз.

В два часа добрались до палатки и пещеры. Вбили в фирн ледоруб, привязали Володо. Дальше, почувствовали, уже не могли бы и шага ступить. Ребята набились в пещеру, там намного теплее, в палатке был один только Дахин. Сидел, замотав ноги в спальник.

— Где Володя? — спросил он, как о живом.

— Там, на улице.

— А я обморозился.

Развернув спальник, скривившись, стал стягивать с левой ноги носки. Несколько пар, одна поверх другой.

— Вот.

Пальцы все до одного почернели. А ногти белели, словно наклеенные.

— Болит? — спросил Анатолий.

— Ага.

— Ясно... А на другой?

— На другой то же самое.

— Ничего, ещё потанцуешь. — “Что же у меня с ногами?” — Витя, а ну-ка похвастайся своими! — обратился он к Якубенко.

— Лучше покажи свои.

— Нет, мои подождут. Моим ничего не станется. Давай, давай разувайся!

У Якубенко тоже отморожены пальцы. Только они ещё не почернели — белые пока что.

— Ну, ребята, считайте, что вам повезло! — сказал Анатолий бодро. — Пережить такую ночь — и только пальцы!

— Ты свои показывай!

— Сейчас. Только снегу принесу. Надо же чайку похлебать на ночь глядя...

Взял котелок, выполз наружу. Заглянул по дороге в пещеру:

— Ну, как мужики? Есть обмороженные?

— Есть... Вон Пашке досталось больше всех.

У Пашки пальцы тоже черные. Услышав, что такие же у Дахина, он прямо повеселел.

— А как наш рыжопер? Есть чем похвастаться?

Есть и у Серёжки, у рыжопера. И у Коробкова, и у Пахомова.

— Что ж, “мужики”, знали, на что шли. Теперь нужно терпеть... Подремонтируют — и следа не останется.

— А у тебя как?

— У меня ничего... Снегу набрали?

— Набрали уже. В снегу сидим.

— Ну, тогда лежите — попивайте чаёк. До завтра.

— Ты будешь показывать ноги?! — встретил его криком Якубенко.

Растапливая снег, весело шумел примус. В палатке становилось теплее и теплее. Дахин, забившись в спальник, уже спал, не дождавшись чая. Якубенко сбросил штормовку и куртку.

— Разувайся!

Анатолий уселся поудобнее, расшнуровал ботинки.

— Что же ты?

— Сейчас.

Но, как ни дёргал, ботинок не снимался.

— Помочь?

— Попробуй.

И Якубенко стал дёргать ботинок. Сначала осторожно, потом изо всех сил.

— Примёрз.

— Не оторви вместе с ногой, — пошутил Анатолий; боли не было, только трещало в суставах.

Ботинки то ли немного оттаяли, то ли не выдержали — снялись. Стали сдирать примёрзшие носки, с сухим шелестом посыпался лёд. Оголились ноги.

Белые, холодные, чужие. Якубенко взял ложку, постучал — точно о камень.

— Болит?

— Ничего не чувствую.

— Здорово же тебя прихватило! — тревожно сказал Якубенко. — Нужно немедленно что-то делать.

— Может, репшнуром?

— Давай.

Достал репшнур, сложил в несколько раз, замахнулся:

— Хоть не смотри!

— Ничего, валяй — не жалеи! Лишь бы репшнур выдержал.

Якубенко вовсю стал хлестать по оконевшим стопам. Постепенно прощипалась боль. Ноги потеплели, с каждым ударом тепло опускалось все ниже, к пальцам. Трещали, наливаясь кровью, скованные морозом сосуды, на глазах сползала кожа, а Якубенко то и дело спрашивал:

— Может, достаточно?

— Бей! — говорил Анатолий, только голос его с каждым разом становился всё глуше, как будто кто-то глушил его.

Наконец, Якубенко бросил репшнур:

— Хватит. Так ещё и кости размолотим.

Анатолий сидел, вцепившись руками в жесткое дно палатки. Его тошнило: боль была такой, что останавливалось сердце.

Достали запасные тёплые носки, еле натянули на разбухшие ноги.

— Залезай в спальник! — скомандовал Якубенко. — И попробуй хоть немного вздремнуть.

Но это было как раз то, чего Анатолий сделать не мог: боль разгоралась совсем уже дикая, ноги как бы мстили за то, что он их не берёт, не давали ни на секунду забыться. Он был бы даже рад потерять сознание, и казалось иногда, что действительно начинает его терять, когда накатывался липко-красный туман, чтобы поглотить бесследно, но потом, сам того не желая, он снова и снова выныривал, как тот упрямый поплавок, который невозможно потопить. И, выныривая, с надеждой поглядывал на часы: что угодно, только не это лежание — ногами в пламени! А стрелки вроде и не двигались. Стрелки светились на чёрном фоне, словно приклеенные.

Стонал во сне Дахин, ворочался Якубенко, не находя, видимо, места для ног. Рядом, за стеной, лежал мёртвый Володя. Его молчаливое присутствие, как это ни странно, помогало бороться с болью. Ибо их собственная боль, их муки — ничто по сравнению с его ледяной оконечностью.

В пять часов поднялись: не могли больше лежать. Анатолий попробовал встать на ноги и тут же упал. В углу стонал и ругался Виктор Дахин. Матерился во все на свете вулканы, ругался так, как никогда, наверное, не ругался.

— Помогает? — не выдержал Анатолий.

— Помогает! — простонал сквозь зубы Виктор. — Да лезь ты, зараза, на ногу! Так твою-перетак! — и бил ледорубом по ни в чём не повинному ботинку.

Якубенко тоже уже обувался: молча, без стога. Суровое лицо его за эту ночь постарело на несколько лет, распухшие ноги никак не хотели лезть в трикони. Тогда он взял нож, разрезал их сверху донизу, сперва один, потом другой. Всунул ноги, старательно перевязал ботинки капроновым шнуром.

У Анатолия же ботинки были на четыре номера больше: он подбирал их под несколько пар толстых шерстяных носков. Сейчас он натянул только одну (разбухшие стопы кроваво синели), и это позволило кое-как приспособить обувь.

Попили горячего чая (одно только воспоминание о еде вызывало тошноту), на руках, на коленях выползли из палатки. И, вылезая, каждый сразу же видел Володю, лежавшего обмороженным лицом к небу. Там уже понемногу серело предутреннее небо, то одна, то другая резко вспыхивали звёзды. Переливалась, мерцала россыпь огней вдоль Млечного пути, и по этому пути, по бесконечной этой столбовой дороге прямо над их головами, двигалась, упрямо пробиваясь вперед, яркая искорка.

— Ребята, спутник!

Дахин словно впервые увидел спутник!

Застыли, глядя вверх, а спутник летел и летел, преодолевая космические расстояния, и было в нём что-то очень деловое и целенаправленное, вроде он куда-то спешил, не замечая звёзд, с интересом поглядывавших на него. И что-то такое близкое и родное чувствовалось в этом крохотном огоньке, нечто такое до боли земное, что они все смотрели и смотрели — глаз не могли оторвать. И, пронизывая всё это пространство, весь этот невыносимый холод, злобную эту темень, все эти горы, скалы, льды и снега, весь этот застывший хаос, поднявшийся на человека, чтобы задушить, раздавить, сломать, уничтожить, полетел, помчался победоносно и неистребимо дерзкий сигнал, который, будучи послан человеком, возвращался теперь к нему из космоса.

— Пора, “мужики”! Ты только им ничего не говори о наших ногах.

Это Дахину, который должен был спускаться с ребятами, ночевавшими в пещере. А они снова оставались втроём: Анатолий, Якубенко, Володя. Один мёртвый, двое живых. “Пока ещё живых”, — мрачно пошутил Якубенко. Теперь им будет ещё труднее: каждый шаг — такая боль, о которой они до сих пор и представления не имели.

Отвязали от ледоруба Володю, взяли за шнур. Сделали шаг — и одновременно упали.

— Так мы не дойдём, — сказал Якубенко.

Ребята уже спускались, чуть ниже и левее, придерживаясь гребня.

— Давай кулуаром.

Кулуаром так кулуаром — Анатолию сейчас безразлично. Чёртом, дьяволом — лишь бы не становиться на ноги!

Доползли до кулуара, стараясь не думать, что там, в конце, — острые камни или пропасть? Сели, поехали. Все быстрее и быстрее по вертикальному ледяному руслу, по крутизне, на которую глянуть только — на душе похолодеет. Ветром, снежной пылью било в лицо, запорашивало глаза, а им, ослепшим и оглушённым, оставалось только одно: держать Володю. Из последних сил держать Володю.

С разгону въехали в снег. Снег их спас: дальше чернели камни. Налетит на такой камешек — и одним махом решатся все проблемы. Долго сидели, приходя в себя. Потом поползли уже снегом. Анатолий, Володя, Якубенко; Якубенко, Володя, Анатолий.

Снега становилось всё больше, они обессиленно барахтались в нём, добираясь к лыжам, торчащим впереди. “Уже недалеко... Уже недалеко...” — пульсировало в голове у Анатолия. Разгребая снег, он упрямо полз вперёд, а труп всё тяжелел и тяжелел, и шнур, впиваясь в плечи, натягивался струной. Иногда мелькала мысль, что Якубенко перестал подталкивать мёртвого, но он её отгонял, он готов был за это возненавидеть себя и не позволил себе ни разу оглянуться. Полз и полз, зарываясь всё глубже и глубже в снег...

Добрался до лыж.

— Ты почему не останавливался? — прохрипел Якубенко, который возник перед ним, точно привидение, весь облепленный снегом.

Анатолий не ответил: жадно хватал снег, гасил огонь внутри.

— Простудишься!

Анатолий, если бы смог, обязательно расхохотался бы: после всего, что случилось, бояться простуды?..

— Теперь я потяну.

Анатолий не возражал. Помог из двух якубенковских лыж смастерить волокушу, уложить Володю.

— Ты отдохни, — повторил Якубенко и, впрягшись, потянул Володю вперёд.

Анатолий смотрел на свои неподвижно простёртые ноги, которые сейчас почти не болели, и при одной только мысли, что придётся становиться на них, ему хотелось лечь и умереть. Ребята и без него доберутся до сейсмостанции. Вон они, далеко внизу — чёрные фигуры на ярком фоне. Сколько им там осталось идти! Но вот взгляд его зацепился за Якубенко: Виктор полз, волоча за собой Володю.

“Что ж это я?.. Встать!” — и одним движением, одним отчаянным рывком он поднялся на ноги. “Ты у меня посидишь!.. Ты у меня постонешь!.. А ну-ка на лыжи!” — ибо только так мог сдвинуть себя с места. Прижал ранты замками, покатил вниз. Вдруг почувствовал, что проваливается в яму. Она оказалась неглубокой, но его так сильно подбросило, что нестерпимая боль пронзила все тело, воткнулась в мозг раскалённым гвоздём. Казалось, череп сейчас не выдержит — разлетится вдребезги. Переждав, пока боль немного утихнет, он поднялся на локти. Одна лыжа была на ноге, другая исчезла неизвестно куда.

Всё. Конец. Снова захотелось лечь и ни о чём не думать. Лечь и умереть. Ну, сколько же можно так мучиться?! И снова стал искать взглядом Якубенко. Виктор продолжал ползти вперёд. Тогда Анатолий сел на единственную лыжу и, отталкиваясь руками, поехал за ним вдогонку. На вторую лыжу он наткнулся, когда уже не верил, что её можно найти, — та преспокойно торчала в снегу. Он выдернул её, с трудом поднялся, встал на обе... И осторожно, чтобы снова не влететь в какую-нибудь яму, потащился вперёд, пока не догнал Якубенко.

Они остановились под высокой базальтовой глыбой, торчавшей над оврагом. Туда, в овраг, намело столько снега, что нечего было думать о том, чтобы тянуть Володю дальше. Поэтому решили оставить его здесь, а потом прислать за ним вулканологов. Ведь до станции рукой подать, ребята уже там.

— Ты иди, — сказал Анатолий.

— А ты?

— Я немного побуду с Володей.

— Я пришлю вулканологов, — сказал Якубенко. Анатолий кивнул, хотя мёртвому уже безразлично, когда его заберут: сегодня ли, завтра — какая разница? Он подождал, пока Виктор, встав на лыжи, преодолел овраг, а потом, склонившись над Володей, снял капюшон. Володя лежал на спине, голова погружилась в снег, подбородок задрался кверху. Под белой кожей оголённой шеи остро вздулся кадык. Подведя руку под заочневший затылок, Анатолий поднял его и подгрёб под голову снег. Стряхнул снег со штормовки, прикрыл капюшоном лицо. Сел рядом, упершись спиной в скалу. Нагревая тёмный базальт, заходящее солнце светило прямо в глаза. После пятидесятиградусного мороза там, наверху, после беспощадного ветра и ледяного воздуха было так тепло и уютно, что куда не хотелось двигаться. Он посмотрел вправо — там возвышался вулкан. Камень. Четырёхкилометровая скала, закованная в лёд, как в латы. Вспомнил, как несколько дней назад, когда они добрались до сейсмостанции, Володю никак не могли затянуть в помещение. Тогда точно так же светило заходящее солнце. Камень стоял, словно облитый огнём. Володя смотрел влюблённо, он, кажется, ничего не видел, кроме вулкана.

— Вот куда бы забраться!

— Ну, держитесь, вулканы! — смеялись ребята уже за ужином. — Вы не знаете, кого мы к вам привели! — это уже к хозяевам, двум на удивление молчаливым вулканологам.

Володя и не подумал обидеться. Поднялся, весёлый, высокий, плечистый, переполненный силой:

— А что! Дайте время — на всех побываем! За самые высокие вершины в нашей жизни! — и поднял кружку с чаем...

Вспомнив об этом, Анатолий невольно содрогнулся — такой щемящей болью отозвалось сердце. Как будто кто-то взял нож и проткнул его насквозь. И ещё он подумал, что если бы Володя хоть на минуту ожил и понял, что с ним, то завещал бы похоронить себя именно здесь, под скалой, перед самым вулканом. И ещё подумал: “Если придётся умереть, то здесь, так, как Володя...”

А солнце садилось всё ниже. Пора вставать и идти. Он поднялся и, в последний раз посмотрев на Володю, стал кое-как на лыжи. Сколько шёл — не помнит. Как шёл — тоже. Вспоминает только, что перед самым домом упал. Сбросил лыжи и пополз. По снегу, по утоптанной дорожке, по ступенькам, волоча отяжелевшее своё тело. И тащил за собой ноги, а в ботинках чуть ли не хлопало: не кровью — кипятком. Хватило сил, уцепившись за

дверь, ещё раз подняться на ноги. Сделать один шаг. Упав, он стукнулся деревянно о пол и замер.

Когда его подняли и, уложив на кровать, разули и снова отодрали носки, наступила мёртвая тишина. Ибо то, что увидели, трудно было назвать ногами...

— Мужики, слушайте: “Сначала была боль. Не было ни земли, ни воды, ни неба, ни солнца — была одна только боль. Носилась в пространстве, вездесущая, всеохватная, всевластная. И лепила из людей всякую мерзость. Слизняков, червяков, никчёмных очкариков, — лукавый взгляд в сторону Дахина, — которые причитают по маме при каждом прикосновении к их драгоценному пальчику...”

— Так из всех и лепят? — вёдливый голос Дахина.

— Нет, не из всех. Настоящие люди лепят сами из себя что захотят. Ни на какую боль не обращая внимания...

— Что это ты цитируешь?

— Библию. Для обмороженных...

Двухэтажный деревянный коттедж. Второй этаж, солнечная, в два окна, палата. Районная больница в Ключах, куда их перевезли вертолётom. Хирургическое отделение. Царство Ивана Андреевича, единственного хирурга на несколько сот километров вокруг, человека в этих обстоятельствах непреклонно-решительного: любую операцию, даже самую сложную, берётся делать не колеблясь. “Для нашего доктора голову кому-то отрезать и пришить заново — раз плюнуть!” — с горделивой улыбкой говорят о нём камчадалы.

Ключевская сопка в ясную погоду заглядывает прямо в окна.

— Она себя ещё покажет! — говорят о ней камчадалы. Им как будто не терпится, чтобы вулкан, который дремотно и нехотя попыхивает паром и дымом, наконец проснулся и показал, почём фунт лиха. Пока что более мирной картины, чем Ключевская, трудно и придумать. Идеальный конус, аккуратno врезанный в небо. Часто на весь день небо прячется в густой молочный туман, но даже тогда сопка угадывается подвижной тенью на белом фоне. Украшение Камчатки, царица Камчатки. И каждый из них ощущает, что судьба его связана с этой горой навеки. Где бы ты ни был, куда бы тебя ни забросило. Что бы ни делал. Она будет сниться по ночам в городской душной квартире, мощно раздвигая стены, поднимая потолок к самому небу. Будет навещать в тесных канцеляриях, плотно заставленных столами, с телефонами, арифмометрами, целыми бумажными горами, которым нет начала и не будет конца, в которых утопаешь ежедневно с головой, чтобы, едва выбравшись к концу работы, на следующий день снова нырнуть с головой — вечная карусель, ненасытный молох, неизвестно кем и для чего запущенный. Она, Ключевская, вырастает вдруг посреди улицы, в обеденный перерыв или под конец рабочего дня, когда машины мчатся бешено, а люди бегут, как зачумлённые, или толпятся у дверей магазинов, парикмахерских, столовых, кино, штурмуют метро, трамваи, троллейбусы, словно наступил уже конец света, и этот трамвай или троллейбус — последний, на котором можно ещё въехать в рай... И вдруг поднимается она впереди, величественная и спокойная, и ты мгновенно замрёшь, и уже ничего, кроме неё, для тебя не будет существовать. И потом, когда она исчезнет, тебе станет жаль всех тех людей, которые ничего о ней не знают. Разве что по иллюстрациям или по “Клубу кинопутешественников”. На экране телевизора, этого новейшего пожирателя человеческого времени и энергии. С чашечкой кофе в пухленьких ручонках, которые не знали иного инструмента, кроме вилочки и ложечки.

— Мамочка, посмотри, какая горка!

На экране — пять, десять сантиметров от силы. Миниатюрная и безопасная, как ёлочное украшение. Как приятно и удобно вот так путешествовать! В мягком кресле, с кошечкой на коленях, с женой под боком, которая в аккуратном переднике готовит тебе ужин. И кажется, что уже и эта симпатичная горка тоже пахнет вкусным пирогом. Аппетитной румяной булочкой, только что вытащенной из духовки...



Каждое утро, после того как сестры измерят температуру, к ним вваливается обрубок человека. Обрубок такой беззаботно весёлый, что даже воздух вокруг него начинает как бы светиться.

— Драсьте! Дядя Вася лично приветствует вас!

Что-то неестественно-опереточное было в этом ежедневном появлении.

Дядя Вася — местная знаменитость. Каждую зиму он аккуратно ложится в больницу. Не по своей воле, разумеется: укладывает водка. Или, если точнее, — спирт, которым торгуют в местных шалманах. А дядя Вася с той поры, как помнит себя (а память его ведёт свой отчёт от первой рюмки), потребляет исключительно спирт.

— Заканчиваю десятую цистерну! — докладывает он гордо. Цистерны, ясное дело, железнодорожные, четырехосные, в каждой можно запросто утопить слона. Или носорога.

Дядя Вася весь человеческий род делит на тех, кто пьёт, и тех, кто не пьёт. Хотя в душе убеждён, что тех, которые не пьют, вообще не существует. Они только умеют прикидываться трезвыми, вот в чем весь фокус!

— Не пьёт только петух! Да и то лишь потому, что ему не подносят.

Алкоголиком же дядя Вася себя не считает.

— Кто есть настоящий алкаш? Настоящий алкаш — это тот, кто не знает меры. Я же свою меру знаю. Принимаю вовнутрь за один раз не больше чем пол-литра. Так вы мне объясните после этого, какой же я алкоголик?

У него, рассказывают, золотые были руки. Столяр, печник, портной, жестянщик и охотник — деньги когда-то так и плыли со всех сторон, и он их аккуратно отоваривал спиртом, этим в глазах дяди Васи единственным товаром, за который стоит платить. Теперь же, когда рук не стало, получает пенсию. Как инвалид первой группы. Живёт от выпивки до выпивки.

Как-то Анатолий спросил:

— Дядя Вася, вы здесь прожили всю жизнь: неужели вам ни разу не захотелось подняться на Ключевскую?

— А на хрена? — удивился дядя Вася. — Там же ларьков с пивом нет!

Дядя Вася на своём веку не поднимался выше магазинного крыльца. Зато падал оттуда основательно и надёжно — головою в снег. Лицо у него было тоже не раз обморожено, и розовая кожа блестит, как лакированная. А рук-ног постепенно лишился до колен и локтей: что ему обрежут, подластают да подлечат, он в следующую зиму опять отморозит.

— На мой век тела хватит! — беззаботно отмахивается культей. — Вы мне лучше скажите: какого хрена вас на ту гору носило?

Дядя Вася никак не может поверить, что ребята не за деньги поперлись на Ключевскую. Ну, пусть бы с пьяных глаз, тогда понятно. Да хотя бы летом. А то ведь зимой, в самые лютые морозы. Не иначе шли за какой-то большой выгодой! Это и мучает дядю Васю более всего. И заставляет изо дня в день проводить ребят. В надежде, что они проговорятся.

Ребята же, поняв причину, приводящую дядю Васю к ним в палату, стали подливать масла в огонь. Ровно половина восьмого, сейчас появится дядя Вася, уже шаркает за дверью.

— Витя, — громко спрашивает Анатолий, — а лоток ты спрятать не забыл?

Дверь, которая начала было приоткрываться, замирает.

— Да вроде бы спрятал, — сразу же включается в игру Якубенко.

— Вроде... — сердится Анатолий. — Ты мне точно скажи! Знаешь, что будет, если кто-нибудь зайдёт и найдёт лоток! И ребёнок поймёт, для чего мы поднимались на Ключевскую.

— Да спрятал же, говорю!

Дядя Вася, не выдержав, раскрывает дверь шире. Ребята делают вид, что только сейчас замечают его, и сразу переводят разговор на погоду. “Та-ак, — написано на лице калеки. — Ясно, почему вы вдруг заговорили про погоду да про морозы! Только меня не проведёте — не на того напали”.

В следующий раз уже Пашка, притворяясь, что не заметил, как дядя Вася зашёл в палату (как раз в это время читал газету), восторженно восклицает:

— Вот это да!

— Что там? — интересуется Сергей.

— Послушайте: вулкан Этна во время извержения выбрасывал ежедневно два с половиной килограмма золота. Сколько же это набралось за месяц?

— Семьдесят пять.

— А вы говорите... Гм, гм, — вроде только сейчас заметил дядю Васю. И прячется за газету. — Что же здесь дальше... Ага, вот... В Африке нашли черепок доисторического человека. Предка гомо сапиенса...

Но дядю Васю гомо сапиенс не интересует; в небольших глазах дяди Васи уже начинает мерцать зарево золотой лихорадки. Два с половиной килограмма золота каждые сутки! Сколько же это можно спирта купить! Не выдержал:

— А я, так-перетак, прожил всю жизнь и не знал, что у меня под носом! — плюнул с досады и покатился из палаты.

Ребята хохотали до слёз. Долго хохотали, может быть, хотели продлить свое смешливое настроение. Ведь через какие-нибудь два часа будет уже не до смеха: после завтрака и обхода откроется настежь дверь, и операционная сестра, молоденькая жена Ивана Андреевича, вкати в палату кресло-коляску.

— На перевязку, мальчики! — пропоёт она.

Валя похожа на операционного ангела: на редкость нежное лицо и непорочно-девственной чистоты серые глаза.

— Кто первый? — сверкает улыбкой серны.

Такого рода охотников что-то не находится. Кое-кто даже натягивает одеяло, словно собирается нырнуть под него. Все хорошо знают, что ожидает каждого в операционной.

— Катите, Валя, сюда! — говорит Анатолий. — Давайте ваш катафалк!

Валя подкатывает кресло впритык к кровати, и Анатолий, вцепившись руками в металлические подлокотники, начинает осторожно переносить своё исхудавшее тело. Тут главное — не потревожить ноги. Не зацепиться ими за спинку или колесо. Обе ноги, словно мины. Одно неверное движение — и они взорвутся такой нечеловеческой болью, что весь мир померкнет. И пока Анатолий переносит свои ноги в кресло, остальные, боясь шевельнуться, напряжённо следят за каждым его движением. Всё! Можно везти.

— Граждане пассажиры, — обязательно прозвучит тенорок Пашки-лейтенанта, — производите высадку и посадку, придерживаясь очереди! Не лезьте вперёд, не толкайтесь, уступайте места инвалидам, женщинам с детьми и гражданам пожилого возраста!

Никто не думает сердиться, хотя этими “гражданами” он уже надоел, как горькая редька. Все облегченно вздыхают, будто каждый сам проделал эту операцию. Все прекрасно знают, что там ждёт Анатолия. Но первый рубеж взят. И когда Валя выкатит “катафалк” из палаты, никто и слова не обронит об операционной. В первый же день Якубенко предупредил:

— Если кто-нибудь вздумает раскрыть свой поганый рот и петь, как ему больно, — выбросим вон из палаты! Чтоб и духа не осталось!

И ребята, как бы ни болело, не “пели”. Возвращались с побледневшим лицом, а то и искусанными губами и молча ложились в кровать. Лежали, закрыв глаза, приходя понемногу в себя. Один лишь Пашка не выдерживал: жаловался, едва сдерживая слёзы:

— Ну, почему они надо мной смеются?

Оказывается, у Пашки, как только Иван Андреевич брался за скальпель или хирургические ножницы, уши сразу же становились торчком. Независимо от того, хотел Пашка этого или не хотел. Сёстры давились от смеха, Иван Андреевич кричал на них и на Пашку, а тот обижался.

Длинный, как пенал, коридор, доведённый до идеальной чистоты пол. Говорят, что Иван Андреевич, он же одновременно и главврач, каждое утро проводит по полу носовым платочком, и, если на нём остаётся след, заставляет перемыть. Поэтому пол так и сияет, а солнце, жарко отразившись от него, ложится на белые стены, белые двери, белые рамы и подоконники. Всё здесь белое, в том числе и халаты на молоденьких, как и сама больница, медсёстрах, и кокетливо повязанные платочки, и не хочется глаз отрывать от

этого белого чуда. А тем временем “катафалк” продолжает свои непрерывные челночные операции по коридору и так же неумолимо надвигается эта злополучная дверь слева. Операционная. Святая святых больницы. Юдоль слёз, крика и зубовного скрежета.

Чувствуя, как у него всё сжимается, Анатолий припоминает своё первое посещение этого симпатичного кабинета. Впрочем, слово “посещение” вряд ли здесь уместно: его вкатили в кресле, а потом осторожно сняли и положили на стол. На длиннущее, как бы на вырост, сооружение. Ещё и накрыли до подбородка простынями, оставив оголённые ноги. Когда принялись терзать ноги, он не выдержал и застонал.

— Кричите, кричите, голубчик! — посоветовал хирург. — Ругайтесь, кричите — только не молчите!

— Не дождётесь! — сердито ответил Анатолий.

И как ни болело, как ни терзал его врач, больше ни разу не застонал. Впивался руками в стол, выгибался дугой, до крови стискивал зубы, но не стонал.

— Вы человек или камень?! — в конце концов, не выдержал хирург.

Произошло это уже во время второго или третьего посещения операционной:

— Поймите, когда больной стонет или даже кричит, ему становится легче. Боль выходит из него вместе с криком. Вы же загоняете боль себе вовнутрь. Так может сердце не выдержать!

— Выдержит! — отвечал Анатолий сердито. — Моё выдержит!

— Чёрт! — непонятно кого отругал доктор. А через некоторое время, бросив скальпель, сказал: — Нет, так нельзя! Это же тело живое, а не дерево!..

Наконец, договорились так: Анатолий скажет, когда будет становиться совсем невыносимо. Но где начинается тот болевой рубеж, который не в состоянии переступить человек? Воин из Рима Гай Муций Сцевола, схваченный в лагере этрусков, из презрения к боли и смерти сам опустил в огонь и сжёг свою руку. Индейцы из воинственного племени, смеясь, шли на смертные муки, и даже смерть не могла стереть с их орлиных лиц надменную усмешку. Иван Андреевич каждый раз очерчивал пальцем точный рубеж:

— Чистим сегодня вот до сих пор.

Что означало: до этого места и обрезать нервы, которые, на удивление, жили даже в отмершей ткани. Боль была просто умопомрачительной, но каждый раз Анатолий передвигал рубеж на несколько миллиметров выше:

— Давайте ещё!

И так — по миллиметру, по сантиметру — передвигал болевой рубеж. Учился смотреть на своё измученное тело так, будто сам стоял где-то в стороне. Видя, как оно извивается и корчится, строго приказывал себе: “Ты это выдержишь!.. Выдержишь!” И терпел, покуда врач не швырял инструмент:

— Везите этого чёрта в палату!

И это уже была победа.

— Спасибо, доктор, что хоть голову на плечах оставили!

— Нужно будет, отрежем и голову! — сердито отвечал Иван Андреевич. — Да и на кой она вам, такая голова?

— Как на кой? А шапку носить!

— Ну, разве что, — доктор уже мыл руки, стоя к нему спиной. — Давай, Валя, дружок. Не такого весёлого.

Анатолий снова выезжал в коридор. Только сейчас все сегодняшние муки были уже позади. Поэтому можно было откинуться на спинку кресла, сомкнуть веки, расслабиться. Где-то далеко внизу жгло и подёргивало, но что значила такая боль по сравнению с той, какую он только что перенёс! Что значат вообще все боли на свете, когда впереди целый день, длинный-предлинный день, в течение которого он спокойно будет лежать в уютной, как норка, постели. Будет разговаривать, будет делать обязательную гимнастику. В кровати, чтобы не размагничиваться. И никто уже не будет трогать его искалеченных ног.

— Знаете, Валя, так тому и быть: везите прямо в заг! Уговорили — огласен!

Это уже ритуал. Каждый из них, вырвавшись из безжалостных рук Ивана Андреевича, предлагает его молоденькой жене руку и сердце.

— Сейчас поедем! — отвечает с вызовом Валя. — Только мне нужна подружка. Так что придётся, очевидно, подождать Эллу.

Чертовы мужики, разболтали всё-таки! Интересно, кто ж это? Пашка, Пахомов или Серёжка-рыжкопер?

Позавчера получил письмо. От Эллы. Каждая строчка дышала тревогой: что с ним случилось, как погиб Володя? “Тут ходят самые дикие слухи, даже не хочется пересказывать. Напиши немедленно. Или продикуй, если сам не можешь. Вкладываю письмо от твоей мамы. Взяла у тебя в общезитии на столе. Сам ей напишешь или мне ответить? Надеюсь, что удасться прилететь”.

У Анатолия ёкнуло сердце. До сих пор, если он когда-нибудь и обнимал Эллу, то только в шутку, как младшего друга. Как товарища, которого взял под свою защиту. Он и обращался к ней, как обращался бы к младшему брату: “Эл”. “Эл, сегодня пойдём на лыжах...” “Как тебе спалось, Эл?...” “Сбегай, Эл, за билетами!...” Безотказная “Эл” и не подумала бы не подчиниться или возразить. Самая крутая горка пугала её меньше, чем неодобрительный, из-под насупленных бровей взгляд Анатолия. Когда собирались на Ключевскую, она так просилась:

— Возьми меня, Толь! Ты же знаешь, как я умею ходить!

— По ступенькам, — ответил ей насмешливо. — А там, извини, гора.

Впервые обиделась. Сверкнули под очками слёзы. А когда пришла провожать, и все они уже сели в самолёт, а она осталась на асфальтовом поле, тоненькая, беззащитная, он впервые подумал, что, возможно, и следовало бы её взять. И махал в окошечко рукой, пока не исчезла земля... А теперь подумал: как хорошо, что ей не удалось его уговорить! Не мог себе представить её здесь, в больнице, на одной из таких кроватей. Становилось по-настоящему страшно.

В тот же день он ответил. Написал, как было с Володей, и ни слова, что сам отморозил ноги. Так, прихватило кончики пальцев. Вот они и решили воспользоваться предоставившейся возможностью и слегка посачковать. Тем более что здесь, как на курорте: каждому персональная палата, с телефоном, телевизором, ванной и туалетом. Кормят их только заморскими блюдами, а пальчики ласкают лебедиными пёрышками. Всё было бы прекрасно, если бы не так щекотно... Ага, чуть было не забыл: каждый вечер ходим на танцы. От девиц отбоя нет. Знал, что Элла, читая эти строчки, будет сердиться, и получал от этого немалое удовольствие. Маме же, которая ни о чём не догадывалась, написал, что у него всё хорошо: посещает лекции, готовится к зимней сессии. Летом, возможно, придет домой. Элле он ещё приписал, чтобы переслала письмо домой. И чтобы ничего не смела от себя дописывать. Последнее — тоже, чтобы она ещё чуточку посердилась: мама ведь не знает и не ведаёт, что на свете существует Эл...

Эл или, может, уже и Элла? Он и сам пока не знал.

Вот и их палата. Валя открывает как можно шире дверь, чтобы не зацепиться креслом, везёт его прямо к кровати. Кровать Анатолия стоит у окна, он проезжает мимо товарищей и на лице каждого читает молчаливое и тревожное: “Ну, как? Неужели и сегодня так болело, как вчера?” Ибо каждому придётся сегодня же — раньше или позже — сесть в это трижды проклятое кресло и ехать в операционную. Анатолий проезжает между кроватями, и на страшно исхудавшем, измученном лице сквозь синь под глазами, сквозь колючую щетину пробивается вечно неизменное: “Всё в порядке, “мужики”!”

— Сегодня было легче, — говорит Анатолий, хотя ещё никогда, кажется, так не болело. Но все те муки уже позади, и снова на сантиметр или два удалось отодвинуть болевой рубеж, границу терпения, очерченную ногтем хирурга.

А впереди — день, целый день, когда тебя уже никто не будет трогать. И ночь, о которой не хочется думать. Потому что ночи — самые тяжёлые. Днём книги, газеты, журналы, физкультурные упражнения, завтраки, обеды, ужины, процедуры, врач и сёстры, санитарка с таким огромным ведром, что могла бы их всех утопить, как котят; днём разговоры и споры, вплоть

до язвительных реплик, до ссоры, хотя потом, когда остынут, не могут порой даже вспомнить, из-за чего завелись, о чём угодно, только не о собственных болячках... Днём на людях, которые не дадут в себе замкнуться, окунуться в безутешные мысли, а ночью... Ночью остаёшься один на один со своей бедой. Ночью самые чёрные мысли, самые тревожные раздумья. Ночью боль подступает впритык, и от её жестокого взгляда не убежать, не спрятаться — жалит в самое сердце. Неспроста ведь люди чаще умирают по ночам, и все стихийные бедствия, как правило, тоже происходят среди ночи. Скрипят кровати, стонут пружины. Ребята не знают, куда положить измученные, искалеченные ноги. Давит и душит даже простыня, словно она из чугуна, а не из тонкой ткани, и срываешь, швыряешь её прочь на пол, становится вроде легче, а через минуту всё начинается заново.

Стонет, не выдерживая, Пашка, шёпотом материт свои ноги Пахомов. Поднимается резко, наливает в стакан воды.

— Опять таблетка? — с осуждением спрашивает Якубенко: Пашка уже одну на ночь выпил.

— Нет, конфетка! — отвечает тот с вызовом. — Привет от любимой!

— Это уже какая?

— А тебе не всё равно?

— Смотри, привыкнешь. Станешь наркоманом.

— Лучше наркоманом, чем сумасшедшим!

Ставит стакан, падает в постель. Какое-то время крутится, не находя себе места, но потом затихает. Кажется, заснул.

Каждый день им приносят таблетки: от боли, для сна. Ребята — кто сразу глотает, особенно перед свиданием с хирургом, кто придерживает на ночь. Анатолий аккуратно выбрасывает их в корзину.

— Боишься стать наркоманом?

— Не наркоманом — медузой.

А теперь, ночью, иногда жалеет, что нет под рукой таблетки. Глотнуть бы и забыться, как Пашка. Только знает наперёд: выкинет и завтра. Интересно, сколько может выдержать человек?

И мысль об аптечке. Навязчивая, жгучая мысль о том самом, будь он проклят, шприце, который кто-то забыл положить в аптечку. Почему никто из них не догадался проверить аптечку? А кто мог подумать, что там не будет шприца!..

“У меня не болит... У меня не болит... Слышите вы, пылающие огнём, я вычёркиваю вас из своего сознания!.. Я о вас забываю!.. Прочь из мозга, из сердца — на периферию, тлейте себе там! Горите, хоть обугливайтесь, а у меня не болит... Не болит! Не болит! Не болит!!!”

Ежечасная, ежеминутная молитва — посреди долгой ночи. Нескончаемой ночи.

Доктор сказал... Что сказал доктор?.. Что он сказал, по поводу чего?.. Ага, это касалось ног. Там, в операционной, где весь мир вертится вокруг отмороженных ног. Недавние кроваво-синие шишки сохлились, как у мумии, кожа на пальцах покрылась смолисто-чёрным цветом. Белая, лишённая мяса, оголённая кость с судорожно натянутыми жилами. И пальцы, на которые кто-то словно натянул наконечники из блестящей чёрной резины. Зрелище не для людей со слабыми нервами. Сестра из терапевтического, случайно заскочив сюда, как гляннула, так и ахнула, схватившись за стол. “Кто вас просил?! — сердито закричал Иван Андреевич. — Выйдите отсюда!” А сестричка продолжала стоять, крепко закрыв глаза: боялась оторваться от стола...

Так о чём он просил? И что ответил доктор?

Ноги словно того только и ждали, чтобы он немного расслабился: будто кто-то по ним плеснул кипятком. Он даже не пошевелился в надежде найти более удобное место, знал, не поможет. Сжав зубы, ждал, пока схлынет адская боль. Пройдёт. Должна пройти!..

Что же он спросил? Ага, спросил вот что:

— Я буду ходить?

— Постараемся сделать всё, чтобы вы ходили. Хотя придётся кое-что отрезать.

— Режьте. Только так, чтобы было потом на чём ботинку держаться. Чтоб не вертелись, — и совсем уже сердито добавил: — Дядю Васю из меня не сдelaйте! Лучше сразу зарежьте!

— Вы ещё будете ходить, — пообещал ему доктор. И накричал на Валу, которая, не выдержав, расплакалась. — Что это такое?! Прекрати мне сейчас же!.. Скальпель!.. Бинты... Терпи, если хочешь ходить! — это уже к Анатолию. — Терпи!

— А я что делаю?..

А потом в коридоре сказал Вале:

— Когда повезёте в загс, я обую самые модельные туфли!

Анатолий даже улыбнулся, вспомнив, как она тогда чуть его не стукнула. И тут же нахмурился: вот оттяпают ноги, тогда посмеёшься! Будут тебе не туфельки модельные, а костыли. А то и тележка на колесиках. Милая такая дощечка, ремнями к бёдрам прикреплённая, и две колодки в руках: кати, куда хочешь! “Граждане пассажиры, пожертвуйте, кто сколько может, несчастному калеке!” Чаше всего возникал в памяти тот нищий, которого увидел когда-то в электричке под Киевом. Неожиданно вкатывался, как мрачное будущее, ожидавшее его. А самым страшным было то, что его станут жалеть. Ловить сочувствие в глазах знакомых и незнакомых... Как-то он сказал Виктору Якубенко:

— Я, пожалуй, не возвращусь во Владивосток.

За эти дни в больнице они очень сблизились. И не потому, что их кровати стояли рядом, или Якубенко больше всех после Анатолия обморозился (доктор уже сказал, что ему придётся отрезать левую стопу). Открыли друг в друге много общего, то душевное родство, что позволяет понимать всё с полуслова, с едва уловимого намёка. Так понимать друг друга они стали, очевидно, когда спустили Володо. Анатолий хорошо усвоил, что Виктору долго объяснять не нужно: или примет сразу, или столь же категорично отбросит. Поэтому сказал просто:

— Я, пожалуй, не вернусь во Владивосток.

И был благодарен другу за то, что тот не стал допытываться, как да почему. Только ответил:

— Поживём, там видно будет.

Как будто это “Я не вернусь” касалось его самого. А может, действительно касалось? Анатолий хорошо помнил ту, что пришла в аэропорт провожать Якубенко. Все женщины и девушки, которые, к своему несчастью, оказались рядом, с её появлением как бы отодвинулись в тень. Бывает же на свете такая ослепительная красота!

— Толь, ушишни, — тихонько сказал тогда Пашка, во все глаза глядя на красавицу. — Это в самом деле или мне снится?

— Вот зарабатываешь от Якубенко по морде — сразу проснёшься! — ответил Анатолий.

Но Пашка не унимался. Уже в самолёте приставал к Якубенко:

— Не боишься?

— Чего?

— Что она тебя сожжёт.

Позже, из двух-трёх скупых слов, нехотя оброненных Виктором, Анатолий узнал, что та девушка — его невеста. Именно поэтому Анатолий не удивился, когда Якубенко воспринял его фразу так, словно она имела отношение и к нему тоже.

Анатолий постепенно приучал себя к мысли, что оставит институт. Ибо какой же из него теперь геолог? Сидеть где-то в конторе, протирать штаны? Так лучше уж здесь, на Камчатке, хоть на той же Ключевской, у вулканологов. Там ему найдётся работа, там он как-нибудь приспособится. И никто не будет кивать на его искалеченные ноги. И ещё давила обида: следовательно, специально прилетевший из Петропавловска, разговаривал с Анатолием, как с преступником. Словно не имел никаких сомнений в том, что Анатолий виновен в смерти Володи Берсеньева. Во время первой же встречи строго сказал:

— Должен вам сообщить, что родители Берсеньева возбудили против вас уголовное дело. Они обвиняют вас в смерти своего сына.

Вот так: ни больше, ни меньше.

А может, Анатолий сам виноват, что следователь разговаривал с ним подчёркнуто сухо: сразу же ошестинившись, на все вопросы отвечал зло и язвительно. Ну, как же: он насильно погнал всех на Ключевскую! Ледорубом. И заставил их ночевать под открытым небом. Чтобы обморозились. Он просто удивляется, что умер один только Берсенев.

Почему таким тоном с ним разговаривает? Потому что иначе не умеет. Таким уж родился, товарищ следователь...

— Болван! — ругал его потом Якубенко. — Ты хоть соображаешь, какую чушь молот?

— А идите вы все!

— Скажи спасибо, что он допрашивал не одного тебя. Что нашлись более трезвые головы...

— Не твоя ли?

— А хоть бы и моя.

Тогда они впервые рассорились. И именно тогда Анатолий подумал, что не поедет отсюда никуда. Да пропади оно пропадом: и институт, и всё на свете! Так что, когда пришло ещё одно письмо от Эллы, он вообще не ответил. Если уж порывать, то со всем, окончательно и сразу.

И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы Элла прилетела вслед за работником прокуратуры. Не исключено, что он встретил бы и её так, как встретил следователя, и, доведя до слёз, попрощался бы с ней враждебно, чтобы сжечь все мосты и оборвать все нити. Могло случиться и такое, но Элла словно догадалась, что её ожидает, и прилетела не тогда, когда Анатолий лежал, отвернувшись от всего мира к стенке, а через три недели, когда у него было время подумать как следует и понять, что не такой уж этот мир безнадежный, что не все обвиняют его. Элла прилетела тогда, когда Иван Андреевич, наконец, сказал Анатолию, что ампутировать ноги не будет, чего тот боялся больше всего, а отнимет только обе стопы, да и то постарается оставить немного костей, чтобы в будущем ботинок не вертелся вокруг ноги, и он мог бы нормально ходить.

— Нормально?

— Ну, не совсем нормально, но всё-таки можно будет ходить, — честно ответил хирург. — О горах придётся забыть. А так, по ровному, да ещё если с хорошей палочкой...

“Ну, это мы ещё посмотрим! — подумал тогда Анатолий. — С палочкой!..”

Возвратился в палату необычайно весёлый и с этого дня не мог дожидаться, когда его возьмут на операцию. У него останутся ноги! Он будет ходить!

О том, что прилетает Элла, узнали от Пашки. Он въехал в палату в кресле, размахивая телеграммой:

— Толя! Витя! Танцуйте!

— Сам танцуй!

Оба лежали после перевязки.

— Девчата прилетают, а вы разлеглись, как моржи!

— Дай сюда! — сорвался Якубенко.

Выхватил, прочитал, лицо побледнело. Лёг, прикрыл ладонями глаза.

В тот день только и разговоров было, что о предстоящем свидании.

— Значит, так: чтобы и догадаться не смогли, что с нами... Нечего демонстрировать им наши жалкие конечности!

— Сопли держать при себе! Кто распустит — прибьём!

— Да чего вы все на меня вызверились? Ещё посмотрим, кто будет скулить.

А потом Якубенко уже непосредственно обратился к Пашке:

— Если вздумаешь рассказать при девчатах хоть один из своих грязных анекдотов, окунём в унитаз головой!

— Ещё неизвестно, кто грязнее. Позаросли, как дикари!

— А ведь и в самом деле, “мужики”, как-то оно не того... Девчат на смерть перепугаем.

— Полундра! Всем побриться!

Легко сказать — побриться! А чем? Ведь поклялись еще во Владивостоке: не трогать своих бород, пока не вернёмся домой.

— Разве что попросить у Ивана Андреевича?

— Он электрической бреется. Электрическая наши щетины не возьмёт.

И тогда прозвучал смущённый голос Пашки:

— У меня вот бритва с лезвиями.

— Ага! — повернулись в его сторону бороды. — Нашёлся всё-таки веероотступник! На костёр его! На эшафот!

— Ребята, ей-богу, совершенно машинально прихватил! На Ключевой полез в рюкзак — лежит. Не помню, когда положил.

— Хорошо, — сказал Якубенко, у которого борода росла самая густая, — ради такого случая прощаем. Лезвия какие?

— “Нева”. И всего одно.

— Ясно. Хотел тайно побриться? Возвратиться красавцем? Перехватить всех наших девчат?

— На костёр его!

— Прощаем и это! — императорским жестом поднял руку Якубенко. — Давай сюда!

Завладев бритвой, он провозгласил:

— Побреются все! Кроме Пашки...

А у Пашки самая безобразная борода. Кустиками.

Смеялись. Просто заливались смехом, глядя на Пашку. И довели его до такого состояния, что Пашка стал ругаться. Хуже Пахомова.

— Вам, паразитам, разве телеграммы!.. Вам похорошки приносить!

— Хорошо, — сказал тогда Анатолий. Он смеялся вместе со всеми, и смех его вроде как ополаскивал, смывая усталость. — Ради такого известия простим ему и это.

— Только с одним условием, — вмешался Серёжа, — будет бриться после меня.

У Серёжи, у рыжопера, не борода была, а стальная щётка. Машина наедет — скатам конец! Можно себе представить, что останется от лезвия, когда он побреется. И тут все пожалели веероотступника Пашку: решили, что это уж слишком. Побреется перед Сергеем.

Брились всей палатой. Намывали бороды, усы, не жалея помазка, драли, только кожа на лице трещала. Вынырнули лица молодые, ясные, с такой бархатной кожей, что невольно ладонь тянулась прикоснуться, погладить, словно сто пудов с себя сбросили. И молоденькая сестричка Нина, которая на минутку заскочила перед тем, как идти домой, только ладонями всплеснула:

— Боже, ребята, да вы ли это?

— Мы, Ниночка, мы!

Нина почему-то распыкалась. Может, потому, что поторопилась выскочить замуж за какого-то паренька, а здесь такие орлы, а может, по какой другой причине, — кто их, женщин, разберёт? Кто их, женщин, разгадает, если они из-за какого-нибудь пустяка, не стоящего и чиха, так тебя измотают, что свет будет не мил, а то могут вдруг собраться и в миг полететь, не колеблясь, на самый край белого света, чтоб только глянуть на тебя, только прикоснуться к тебе, только улыбнуться... Вот так они и ввалились в палату прямо с мороза, две представительницы этого загадочного племени, словно бежали на лекции да по дороге заскочили, увешанные свёртками, как новогодние ёлочки, с такими румяными щеками, с такими блестящими глазами, что все сразу переменялось в палате; всё, до сих пор застывшее и унылое, больное и безнадёжное, мгновенно рухнуло, разломалось, сдвинулось с места.

Валя зашла, разумеется, первой, и все видели только её; каждому невольно хотелось зажмуриться. Валя весело поздоровалась, улыбалась всем, как артистка, и всех одаривала приятным взглядом, но улыбка эта и взгляд этот были какие-то беззащитные, как будто она не видела, кто перед ней. Так обычно смотрит женщина, когда где-то рядом любимый. И она пошла прямо к нему, дёргая, срывая рукавичку, которая никак не хотела сниматься,



и прелестные губы её уже дрожали, а он бледнел всё больше и молча, даже как-то сурово смотрел на неё. А у самой двери, едва переступив порог, застыла ещё одна фигура, и все, ослеплённые Валею, сначала и не заметили её, кроме Анатолия:

— Эл! Какими ветрами?

Ершистый, насмешливый, сидел он в кровати, прикрыв одеялом ноги, и не было в палате более беззаботного и весёлого человека, чем Анатолий.

— Болит? Что ты, Эл! Давно уже забыли!

У Эллы всё ещё потели очки, и она, чтобы протереть, сняла их, и тогда лицо её стало по-детски беззащитным.

— Да не огорчайся, Эл, мы ещё с тобой погоняем на лыжах! Потом, вечером, когда обе девушки ушли (они остановились в гостинице), Якубенко сказал Анатолию:

— Теперь мне ничего не страшно.

А Анатолий подумал о другом: как хорошо, что есть на свете человек, которому нужна твоя защита!

Пашку и Пахомова выписали через месяц после того, как улетели девушки, потому что у обоих всё зажило, и они отправились домой почти целые: один пальца не досчитался, другой — полпальца; мелочь по сравнению с тем, что ожидало Виктора, а тем более Анатолия. Вот и Дахин своё уже отбыл, и Серёжка-рыжопер. Повезли на операционный стол и Виктора Якубенко (ехал — показывал ребятам два пальца руки, сложенные в букву “V” — виктория, победа). Анатолия же всё не брали и не брали, откладывая операцию со дня на день, с недели на неделю, воюя за каждый миллиметр живой ткани, которая должна была нарасти на его оголенных костях. И как бы ему порой ни хотелось закричать: “Режьте!” — до отчаяния хотелось, какая бы чёрная безысходность ни подступала иной раз к нему, он всё же находил в себе силы терпеть и лежать, лежать и терпеть, ибо вся жизнь его теперь сплошь состояла из долготерпения... Так он и терпел до того самого дня, когда Валя, этот операционный ангел, с особенно ласковым лицом вкатила свой “катафалк” и спросила его так, словно от него зависело, делать операцию или не делать:

— Поехали, Толя?

— В загс?

— В загс, — впервые согласилась она, кивнув головой, и тут же, в глазах её сверкнули слёзы, но что, скажите, за невеста без слёз! Впрочем, Анатолий уже накричал на неё:

— Валя, кому нужно плакать: вам или мне?!

— Если в загс, то, пожалуй, всё-таки мне, — рассмеялась сквозь слёзы медсестра.

— Вот так-то лучше. И запомните, Валюша: вам очень идёт, когда вы улыбаетесь!

И ещё спросил у Ивана Андреевича, когда уже лежал в операционной:

— Так будут ботинки держаться на ногах?

— Будут держаться, — заверил хирург, весь в белом, будто привидение из того стерильного мира, куда выплыл Анатолий.

— Смотрите же. Потому что я ещё должен поставить ногу не на одну такую горку, как Ключевская! Слышите, доктор!

— Укол! — сказал хирург, и Анатолий перестал существовать...

Очнулся в белой палате, такой неестественно белой, словно из неё выцедили всю кровь, до последней капли. И тишина стояла такая, будто за чёрными окнами уже не было ничего живого. В этой ярко освещённой палате к Анатолию возвратилось сознание, и первое, что он увидел, был свет, яркий свет под потолком, резавший глаза. Он крепко сомкнул веки, но сразу же и раскрыл их, поскольку удалось, наконец, собрать осколки одной и той же мысли, бившейся в нём всё это время, пока он был без сознания, собрать и склеить: “Ноги!.. Где мои ноги?..” Ибо ему уже казалось, что он лежит без ног.

Рванулся на локтях, посмотрел и рухнул. Всё поплыло, ему стало до тошноты дурно, и он, снова стиснув веки, с силой выдавил горячую, как

уголёк, слезу: ноги были на месте! Потом он снова приподнялся на локте. Шевельнул одной стопой, другой, какие-то огрызки шевельнулись в ответ, натягивая простыню, и боль, привычная боль сразу ожила и, ожив, заструилась огнём в колени, в бедра, и он так обрадовался этой боли, что рассмеялся вслух: ноги ему всё-таки сохранили!

А потом мучился, как ещё никогда, пожалуй, не мучился. Теперь ноги как бы метили ему за то, что он разрешил их обрезать, и с каждой минутой болели всё сильнее. Тело его покрылось кроваво-красными пятнами, вспухли веки, заложило нос и горло, он начал задыхаться. Сквозь узенькие щелочки, сквозь красный туман едва видел, как вокруг суетились фигуры в белом, какие-то нереальные, потусторонние голоса доходили до него, что-то настойчиво спрашивая, потом ему развели губы, вставили что-то круглое и твёрдое, и тогда с шипением, со свистом, распрямляя сведённые судорогой лёгкие, полилась прохлада. Он её пил и не мог напиться.

— Нужно снять несколько швов, — донёсся голос, который был очень знаком, но Анатолий никак не мог вспомнить, где он слышал его.

— Пару?

— Давай.

Затрещало в ногах; чтобы не застонать, он изо всех сил впился зубами в мундштук.

— Может, ещё пару?

— Можно.

Потом ему говорили, что у него начала развиваться гангрена.

— В сорочке, считай, родился, с того света вытянули.

В сорочке или не в сорочке — это ещё как сказать! Но если уж возвратили в этот мир, то вцепись в него зубами и не отпускай. И когда Анатолия перевели в общую палату, и Иван Андреевич разрешил опускать потихоньку ноги на пол, он сказал сам себе, что с первого же раза дойдёт до двери. Сам, без чьей-либо помощи. Дождавшись, пока врач выйдет из палаты, он сел и сбросил с ног простыню.

Ноги были старательно забинтованы, он уже имел время рассмотреть их во время перевязок. Иван Андреевич сдержал своё слово — оставил, что мог, и ботинки, очевидно, всё-таки будут держаться. Он ещё походит, что бы там ни говорили, и начинать нужно сейчас, немедленно, не теряя понапрасну ни секунды. Итак: сперва опустить ноги...

Они на глазах начали отекать, горячо наливаясь свинцом.

Болит? Уже очень болит? Невыносимо болит? А ты как хотел, чтобы не болело? Тогда ложись, оставайся калеккой!

Встать!

Вот где настоящая боль! Вот они, ягодки! Выдержим! Стиснем зубы и выдержим!

Бинты сразу стали красными. А ты чего ожидал? В тебе же кровь — не водица! И хватит смотреть вниз"! Прицелься на дверь и — бегом!

Добежал, ухватился за ручку и тут же заставил себя оторваться от нее. Боялся — ладонь прилипнет намертво.

Бегом назад! Бегом, пока не потерял сознание!

“Сумасшедший!” — кажется, сама кровать вскрикнула, когда он, еле добежав, упал. На подушку, на спину, со всего маху, точно в воду. То ли застонал, то ли усмехнулся: “Победил!”

— Толь!

Дахин во все глаза смотрел на пол. Он оторвал голову от подушки и тоже посмотрел вниз. На полу, от кровати до двери и снова до кровати, отпечатались кровавые следы...

— Может, обойдём?

— Почему? Горка ведь совсем пустяковая!

Хотя сам в душе ещё колебался: до сих пор ходил только по ровному! До каких пор будешь себя жалеть?

— Эл, догоняй!

Он присел, оттолкнулся, помчался. Всё быстрее, быстрее — меж высоких сосен, так и мелькавших золотистыми стволами. Небольшой холмик возник неожиданно, как замаскированная мина. Удар, бросок, острая пронзительная боль. Точь-в-точь, как там, на Ключевской. Сосны качнулись то в одну сторону, то в другую.

— Я же говорила! — Элла уже рядом, чуть не плачет. — Давай помогу!

— Отойди.

А когда она всё-таки попыталась подхватить его под мышки, закричал уж совсем зло:

— Кому сказал, отойди!

Мрачно, не глядя на неё, поднялся, взял палки, стяхнул снег. С ненавистью посмотрел на холмик, который снова притаился невинно. Сжав губы, повернулся, полез наверх.

— Толь, ты куда?

Не ответил. Всего себя отдавал каждому шагу, “ёлочкой” выворачивая ноги, чтобы лыжи не скользили вниз. Ногам становилось мокро. “Снова кровь соберётся!” Каждый раз после такой прогулки хоть выкручивай носки. Жарко. А горка не такая уж крохотная! Хорошо бы передохнуть, да Элла смотрит в спину. “Нет, мадам, не дождётесь!”

— Толь! — снизу умоляюще.

Даже не оглянулся. Ставил лыжу за лыжей, карабкаясь вверх...

Вот, наконец, и вершина. “Вершина!” — улыбнулся презрительно. А что: для него — вершина. Сейчас это его Эльбрус, пик Коммунизма, Джомолунгма, “Эверест — десять вёрст”. Хоть претендуй на медаль.

Развернулся. Элла всё ещё стояла возле того проклятого холмика, смотрела вверх. Уже не звала — молчала. Знала, наверное, что не уговорит: ни слезами, ни криком. Ухватился крепче за палки, набрал полную грудь воздуха. Сильно оттолкнулся и — вниз.

Снова золотистое мелькание стволов, упругий свист воздуха, щекочущее ощущение нарастающей скорости. Ещё, кажется, минута — и ты взлетишь над землёй! И снова тот злополучный холмик, рядом с Эллою, неотвратимый, как сама судьба.

Удар, бросок, ещё удар, и сквозь боль, сквозь горячий туман радостная, всепоглощающая вспышка: не упал!.. “Ну что, Эл, мы ещё себя покажем, возьмём не одну такую горку, а то и нечто повыше, дай только срок, потому что не всё сразу, Эл...”

Готов был обнять её, а она, онемев, стояла на том же месте, всё ещё не веря, что он не лежит в снегу, скорчившись от боли. Потом шагнула к нему:

— Толь...

Что-то такое тёплое шевельнулось в груди, что он, стыдясь этого чувства, вогнал палки в снег, резко оттолкнулся, выкрикнул:

— Ну-ка, догоняй! Вперёд! Только вперёд! Навстречу солнцу, морозу и снегу...

Каждую неделю они непременно отправляются за город. Чистый, прокалённый первыми морозами воздух, лес, насквозь пронизанный лучами, нетронутая снежная пелена и такая тишина, что боишься её нарушить. Только прогудит где-то в поднебесье невидимый отсюда самолёт да из глубины леса донесётся какой-то таинственный звук: зверь не зверь, человек не человек, привидение не привидение, какой-то лесной дух, в которого мы давно перестали верить, от которого отrekliсь, непримиримо и самоуверенно провозгласив, что его нет и быть не может, а он есть, он себе покачивает головой и посмеивается в свои серебряные усы и бороду над нашей детской категоричностью, он лишь посматривает лукаво из-под заснеженных бровей: “А что вы запоёте, когда с глазу на глаз столкнётесь со мной? В дикой пуще, среди темной ночи”. Лес как бы вздохнёт, свой белый сон досматривая, и этот вечный вздох так тебя всего и пронзит, так и омоет, так в душу и плеснёт, словно лес прильнул к твоему разгоряченному лицу, да и дохнул, уста в уста.

Пять, десять километров, всё глубже и глубже лес, а потом передышка на какой-нибудь уютной полянке и закуска перед обедом на куцый студен-

ческий бюджет: самая дешёвая колбаса или сала кусок, да луковица пополам, да горячий из термоса чай. Анатолий всегда сыпал столько заварки, что Элле потом снились только коричневые сны. А там — снова вперёд, и, глядя на энергично нацеленную фигуру, Элла с изумлением и болью думала о том, как он всё это выдерживает, но спросить не решалась: спросила однажды, да едва язык не откусила. Как-то так непонятно посмотрел на неё... Посмотрел и сердито сказал:

— Если вы ещё раз, мадам, поинтересуетесь моими конечностями, можете продавать свои лыжи!

Каждый раз, возвращаясь в общежитие (с прогулки, с лекций — всё равно), Анатолий первым делом отпаривал ноги. В растворе марганцовки. Потом густо смазывал их бальзамом Вишневецкого. И на лекции, и на прогулки одевал исключительно вибамы. Ходить в обыкновенной обуви просто не смог бы: сгибались бы подошвы. А тут: набивал побольше ваты, натягивал по нескольку пар детских носков (пробовал сначала надеть нормальные, подгибал, обрезал — ходить не мог: носки сбивались валиками, а обрезанные впились швом). Так и додумался, в конце концов, до детских носков.

И каждую ночь, пока не засыпал, убаюкивал свою боль. Привык ней и уже не представлял себе, что бывает как-то по-иному. Заново учился ходить, бегать, ходить на лыжах, подниматься в горы и спускаться вниз. Эту нехитрую науку он осваивал с таким упорством, будто от этого зависело, жить ему или не жить. И ни на минуту не позволил себе расслабиться. Каждое утро после обязательной зарядки и холодной душа причёсывал перед зеркалом свои непокорные волосы. Причёсывал и сам себя спрашивал:

— Ну как, мужик, не сдаёшься?

“Мужик” всем своим видом демонстрировал, что и не думает сдаваться. Энергично — только так! — обувался и покидал общежитие. До позднего вечера. Как бы ни болело. Как бы ни хотелось иногда разуться и посмотреть, что там с ногами.

Впереди у него была цель: снова подняться в горы. В первую очередь — на Ключевскую. Пройти по тому же маршруту, по которому поднимались с Берсеньевым. Решение это пришло после случайной встречи с родителями Володи. Прошло полгода, как он возвратился с Камчатки. Остались позади тяжёлые разговоры со следователем: родители Володи всё-таки подали на него в суд.

— Почему ты не сходишь к ним? — спрашивали друзья. — Не расскажешь, как было на самом деле?

Анатолий не шёл, потому что знал наперед: не поверят. Что бы ни говорил — не поверят. Тем более не поверят, потому что их Володя мёртв, а он, Анатолий, живой. Тут будут бледнеть самые убедительные доказательства, будет неметь любая логика, тут ничего не будут значить все на свете слова. Анатолий — преступник, Анатолий убил их сына. Поэтому его нужно предать суду.

Наконец, следователь, сам больше месяца неотступно потрошивший Анатолия, решил показать родителям Володи тот фильм, который снял на Ключевской Серёжа-рыжкопер. Это был, собственно, даже не фильм — отдельные эпизоды, которые Серёжке удалось выхватить на пятидесятиградусном морозе, когда Анатолий и Якубенко спускали мёртвого Володю вниз (кто бы мог подумать, что у Серёжки, тоже обмороженного, хватит мужества и сил в те трагические часы что-то снимать!)... Так что это были просто отдельные кадры, выхваченные из тех событий, которые стремительно мчались снежной лавиной, угрожая их всех снести в небытие. Кадры, отвоеванные у космического холода, у беспощадного ветра, когда на минуту выдернутые из рукавиц пальцы тут же белели, становясь, как чурки (недаром у Серёжки, у единственного, были обморожены и руки), а глаз примерзал к видеоискателю, когда даже движения живых казались столь замедленными, будто они давно уже мертвы и переставляют ноги только по инерции.

Анатолий — Берсенев — Якубенко...

Якубенко — Берсенев — Анатолий...

Две согнутые, до предела напряжённые фигуры, тянущие обвязанный труп... Удерживающие тяжёлый, как ледяная глыба, труп, чтобы не сорваться вместе с ним, не “улететь”... На коленях, на всех четырёх, зарываюсь лицом в снег, из последних сил, которые ещё остались, тянут они Володю Берсеньева. Тянут с такой яростью, что это уже находится за пределами здравого смысла. Что хочется кричать: “Зачем?! Для чего! Вы же ему всё равно ничем уже не поможете?!” А они всё тянут, тянут, тянут... Тянут, точно обречённые... Тянут, как проклятые. И невозможно к ним докричаться. Потом уже тянут в одиночку.

Анатолий — Берсеньев.

Якубенко — Берсеньев.

Немые снимки, застывшие фигуры. Скупые кадры, мгновенные отрывки трагедии. Цвета — только чёрно-белые, резкие, как та правда, которую они зафиксировали. Вот как это было. И не иначе.

И когда они встретились — Анатолий и родители Володи Берсеньева, — те снимки, те кадры незримо стояли перед ними. Анатолий почувствовал, как бледнеет. До этого момента не поверил бы, что это можно почувствовать. Замерзшее лицо, пылающее жаром, сведённое судорогой, — это бывало, но чтобы когда бледнеет!.. А тут почувствовал. Как будто встретил не родителей, а самого Володю. Не живого — мёртвого. С застывшим, инеем покрытым лицом.

Что они ему сказали? Что он им сказал? О чём вообще говорили те несколько минут, когда стояли посреди вдруг опустевшей улицы? (Люди, машины, дома, даже тротуар под ногами — всё куда-то исчезло, а пространство вдруг наглухо замкнулось.) Не помнит. Не мог вспомнить, как я ни допытывался. Во всяком случае, о Володе не было сказано ни одного слова. Хотя он всё время был между ними. Мёртвый Володя. Володя живой.

— Кажется, они спросили, как моё здоровье.

— И всё?

— Не помню... Помню только, что мне очень хотелось оглянуться, когда мы, попрощавшись, разошлись...

— Оглянулись?

— Нет. Всё время казалось, что они стоят и смотрят в спину...

Вот тогда, именно тогда Анатолий и дал себе клятву: поставить Володе памятник. Не на кладбище — на Ключевской.

— А как исковое заявление в суд?

— Заявление они, наверное, забрали... Да и какое это имеет значение! — досадливо отмахнулся. — Я должен был поставить Володе памятник. Должен был!..

Встреча произошла весной, в конце мая. И впереди было лето. Целое лето, долгих три месяца, на которые Анатолий куда-то должен был себя девать. Подлечить свои ноги. Домой к матери — об этом не могло быть и речи. Кем угодно, только не сыном-калекой. Писал ей бодрые письма, сообщал, что этим летом придётся отправиться на практику, так что приехать домой, наверное, не удастся. “Подождём, мама, следующего лета, время пролетит незаметно, не успеете и опомниться, как я приеду в гости, на целый месяц”. И в каждом письме добавлял, что активно занимается спортом, прыгает и бегает. “Ты, сынок, не очень там бегай, а то, гляди, ещё ногу вывихнешь или сломаешь, тут вот один у нас добежался — второй месяц лежит в гипсе”, — Анатолий читал материнское предостережение, читал и улыбался про себя.

Подумал Анатолий, подумал, да и устроился в контору, где зимой геологи обрабатывают материал, собранный во время полевого сезона, а летом остаются только пожилые женщины, да беременные, да молодые матери, которые кормят грудных детей. Анатолий и засел меж ними: на всё лето, на целых три месяца, когда от тоски сдохнуть можно от одной только мысли, что твои однокурсники-друзья бродят сейчас по тайге, или в тундре, или в горах, а то и в пустыне, с геологическими молотками и полевыми дневниками, и светят им большие и малые находки. А тут возись с образцами,

нумеруй, описывай, работа не для мужика. Да ещё сидишь и не знаешь, как под конец рабочего дня выйдешь из-за проклятого этого стола. Ибо с каждым днём конторской службы, с каждым часом неподвижного сидения ноги разбухали всё сильнее и сильнее, и порой казалось, что он их из-под стола не выдернет, или стол придется разбивать, или обрубить ноги. А тут ещё женщины, всезнайки и всеподмечайки, которых интересует всё на свете, стали перешёптываться, поглядывая с осуждением на Анатолия, и ему не стоило большого труда догадаться, о чём они шепчутся, тем более что одна из них произносила целые монологи, не скрывая даже, кому они адресованы.

Была эта весьма красивая на вид дамочка такой чернявой, что ворон показался бы рядом с ней блондином, словно природа вылепила её не из плоти человеческой, а из антрацита. Поэтому в ней гудело столько огня, что его бы, пожалуй, хватило на средних размеров домну. За короткую супружескую жизнь она успела испепелить двух мужей и принялась за третьего. А теперь этот огонь почему-то переметнулся на Анатолия. Возненавидела она его ещё до того, как он приступил к работе. Молодой, здоровый, только вступает в жизнь, а уже ищет, где полегче. Затесался среди женщин, и ни стыда у него, ни совести; плюнь в глаза — скажет: божья роса! Смотреть противно!

Она не обращалась лично к нему, а просто говорила: “Есть такие люди”. Пылкие тирады, гневные монологи, язвительные реплики огненными стрелами летели в “таких людей” и безошибочно попадали прямо в Анатолия. Он же только посмеивался. Его развлекал этот гнев, священная эта ненависть. Выходит, они ничего не замечают, даже не догадываются о его искалеченных ногах. Эту дамочку следовало бы выдумать, если бы её не было в действительности! И он подбрасывал в её святой огонь как можно больше хвороста. А что, пусть дураки идут в поле! Мерзнут в тундре, мучаются в горах. Недаром же поётся в песенке: “Умный в гору не пойдёт...”

Правильно, только последний олух постесняется стать за прилавок! А лично он, как только получит диплом, пойдёт торговать минералкой. Или ещё лучше — пивом. Папенька — начальник торгова?.. Берите выше, миледи: заместитель министра мой папенька. Так что знайте, с кем имеете дело! Довёл их до того, что перестали здороваться.

Потом, как и следовало ожидать, правда раскрылась. И та жгучая брюнетка фурией влетела в контору:

— Вы!.. Вы... Как вы смели?!

Задышавшись от возмущения, от гнева и стыда:

— Я вас видеть после этого не могу!

Смертельно обиженная, схватила со своего стола бумаги, зашхала их в сумки, выбежала прочь. И больше не появлялась.

— Зачем ты так? — спросила с осуждением Элла, когда он, смеясь, рассказал о финале этой кампании. — Это жестоко.

— А не жестоко было бросать все эти реплики? — спросил Анатолий. — Ничего, кстати, обо мне не зная, — посмотрел вниз, на грубые вибамы, задумчиво произнёс: — Интересно, как она могла узнать? Неужели ходила в институт?

До конца лета просидел Анатолий в своей конторе. Сперва женщины чувствовали себя, как побитые, а потом, посмеявшись вместе с Анатолием (“Ну, вы и штучка!”), приняли его в свою не столь дружную, сколь болтливую семью. Вот так и проработал Анатолий до осени, до начала занятий, и ни разу не сел в трамвай или троллейбус — только пешком. И когда отправился впервые в лес (в одиночку, даже Эллу не взяв), когда стал на лыжи и поехал, с каждым метром все смелее и смелее, когда свершилось чудо и лыжи покорно понесли его по белой поверхности (что там боли, что там все на свете муки), когда понял, что снова будет бегать не только по ровному, но и спускаться с гор, тогда впервые поверил по-настоящему, что непременно побывает на Ключевской и поставит там Володе Берсеневу памятник... И что сделает это в годовщину его гибели...

Вот тут-то я подхожу к тому, что с самого начала работы над повестью висело на мне тяжёлым камнем, висело на моей, если хотите, совести.

Я не поверил Анатолию, когда он сказал, что ровно через год не только поднялся на Ключевскую, а и прошёл самым трудным маршрутом по вершинам ещё трех вулканов: Авачинского, Корякского и Камня. Не то что не поверил, я не мог не поверить тому, что рассказывал Анатолий, потому что за годы знакомства имел возможность убедиться в его порой слишком жестокой правдивости. Она проявлялась во всём, в самых маленьких мелочах, в разговорах с любым человеком, несмотря на его чин, возраст или должность. Убеждался в его правдивости даже тогда, когда она ему явно шла во вред, только лицо его при этом становилось каменным, а глаза загорались чёрным огнём... За эти годы я ни разу не поймал его на фальши, поэтому не имел никакого права его не верить. И тем не менее, какое-то сомнение всё время шевелилось во мне, ибо я не мог забыть, какой дорогой ценой досталось ему то первое восхождение на Ключевскую, а тут вдруг — четыре вулкана подряд, четыре самых сложных маршрута, и снова зимой, и опять на морозе и ветре, да с покалеченными ногами, которые и залечить как следует он не успел. Да к тому же ещё и во главе такой большой группы: четыре девушки и пятеро “мужиков”, значительная часть которых поднималась впервые... Тут уж забудь о своей боли, не дай прорваться наружу самой незаметной гримасе: восемь пар глаз смотрят на тебя, восемь пар рук, восемь пар ног повторяют каждое твоё движение, след в след идя за тобой.

Как ему это удалось? Как он на это решился?

Измученный подобными сомнениями, я почувствовал, что теряю право на свой рассказ. Оставалось одно — предоставить слово самому Анатолию, вернее, тому, что я за ним записывал на скорую руку в палатке, в Зор-Бурлуке, на высоте четырёх тысяч двести. Не меняю ни слова.

“Ровно через год — на восхождение.

Первый — Авачинский вулкан, самый лёгкий маршрут. Чтобы себя проверить.

Очень тяжело мне было спускаться вниз. Подошвы, как ни поставишь ноги, стигались. Пятка проваливалась, а носок — нет. Я шёл последним, чтобы не видели.

На Корякской: маршрут 2-А, для значкистов. В связке, ледорубы, кошки. Поднялись на вершину. Экономил запас терпения. Составили тур, как и на Авачинской, свою записку оставили, а предшествующую забрали.

Нарастала уверенность в собственных силах.

На Камень, по фирну, два километра гребнем. Ход в три такта: загнал ледоруб, носком изо всех сил в фирн, вторым носком, затем снова ледоруб... Такое впечатление, как будто бил ногой о камень.

Шли уже шесть дней, съели всё, осталось на один завтрак. Советовались: подниматься на Камень или послать кого-нибудь за продуктами? Решили: подниматься! В два часа ночи — подъём, в четыре — выход.

В третьем часу после полудня взойли на вершину. Снежок посыпался, молнии и гром. Спуск: очень круто, фирн, как лёд, спиной к склону, ногу на всю подошву и изо всех сил — ледоруб. Витя поставил ногу боком, полетел вниз головой. Задержался на репшнуре.

Когда вышли на снег, все развязались. Плевать на то, что нет продуктов!

В ногах сплошная боль.

Пошли на перевал между Камнем и Ключевской, натянули палатки, послали за продуктами. День отдыхали — блаженствовали. На второй день — снова на Камень, маршрутом 4-А, самым сложным. Сплошной лёд. Забивали крюки. Гребень острый, как нож. Восхождение мы проделали за тринадцать часов — почти рекордный срок.

Стали спускаться. Витя снова сорвался, опять полетел головой вниз. Я ещё хотел спросить: из чугуна она у него, что ли? Предупредил:

— Если ещё раз сорвёшься — отправлю домой!

Больше не срывался.

Камень — четыре тысячи семьсот шестьдесят. Самый сложный маршрут...

Сделали... Теперь ничего не страшно!

Поднялись на Ключевскую. Солнечная погода, прекрасно виден кратер. Выложили пирамиду из камня, закрепили памятную доску — когда погиб

Берсеньев, — никелированный ледоруб. Отыскали памятную доску в честь столетия со дня рождения Ленина. Постояли.

Спуск. Был кулуар. Бока снежные, а желоб — сплошной лед. Я ещё подумал: в такой сорваться — ничто не задержит. Всё равно, что броситься в водопад. Спуск траверсом, по снегу, по самому краю. Элла оступилась, полетела в кулуар. Крутануло, вырвало ледоруб, понесло.

Я шел сзади, всё равно не успел бы ничего сделать.

И тут Витя — за ней. Прямо в желоб, на лёд.

Как сбегал вниз — не помню. Застряли внизу, в рыхлом снегу. Элла потеряла очки, ледоруб, сидит плачет...”

Тут я, помнится, перебил рассказ Анатолия, спросил:

— Почему она плакала? Ударилась?

— Возможно, — ответил Анатолий.

Я не записал этого в блокнот, но чувствовал, что не успокоюсь, пока точно не узнаю, почему она плакала. Спросил об этом Элле уже в Душанбе. Она смущённо улыбнулась, поправила очки:

— Вы знаете, какой была моя первая мысль? Что Анатолий прибежит и будет ругаться. Потому я и заплакала...

Продолжаю цитировать Анатолия:

“Витя Шкарбан сидел рядом с Эллой. Мрачно и молча бинтовал руки.

Пока шли, она декламировала стихи. Брели к палаткам. Ноги горели, дорогу не выбирал, всё — для Эллы. Сняжки были, переломов не было. Остановились возле небольшого озера. Взяв каску, налили воды, вскипятил, попарил ноги за палаткой, чтобы не видели.

Всю ночь голова Эллы на моих коленях. Сидел, потому что она сразу заснула.

Отдыхали два дня. Потом на Петропавловск. Никто не обморозился...”

И дальше записи уже не о Камчатке — о Памире. Куда он перебрался из Владивостока, выпросив свободный диплом.

— Я сказал, что врачи рекомендуют тёплые края. Для выздоровления.

— А на самом деле?

— А на самом деле: Душанбе и самые высокие горы под боком.

— И не раскаивались?

— Не раскаивался...

“Ходил целый год в вибранах и в трикотажном тренировочном костюме. За пять шестьдесят. Каждую лишнюю копейку — на альпинистское снаряжение и книги. Жил у очень богомольной бабули, которая пела псалмы по четыре часа подряд. На всех стенах — иконы, лампадки, свечи. Пропах ладаном на всю жизнь, на работе стали косо посматривать, подозревали, что ежедневно посещаю церковь. Комнатка два на три и без дверей. Бабуля поёт, поёт, потом просунет голову:

— Не мешаю?

Терпел, а где было жить? Спасибо и за это.

Зато суббота и воскресенье мои. Рюкзак с альпинистским снаряжением и — на автобус. В горы.

Общество “Хаселот”, то есть “Урожай”. Собрались зубры, альпинисты с очень серьёзной скалолазной подготовкой. Все — в галошах, один я — в триконях. Галоши для скал — самая лучшая обувь.

Заметят, что я отстаю, делают вид, что устали. Привал. Мужики — таких поискать!

Работал в “Дорпроекте”: бил шурфы, отбирал пробы, документировал. Потом знакомый геолог помог устроиться в “Гипрозем” — инженерно-геологическая съёмка всех рек Памира. Хотел в памирскую экспедицию, договорился с Аверьяновым весной на Бартанг, но нужно было пройти медицинскую комиссию. Невропатолог:

— Где твой военный билет?

— На прописке.

— Принеси.

Некуда деваться, пришлось принести.

— Почему снят с военного учёта?

— Палец отрезали.



— Не ври. Из-за одного пальца не снимают.

— Ну, хорошо, все пальцы. Вам достаточно?

Отправил к хирургу.

— Вам нельзя работать в горах!

Я ему справку о четырнадцати восхождениях на Камчатке. Послал к главному врачу.

— По инструкции вам работа с длительным пребыванием на ногах вообще противопоказана. Меняйте профессию.

— Противопоказана? Менять профессию? Ну-ка пошли, я тебе на сто метров пятьдесят метров форы дам!

Все равно не приняли.

— Ну, подождите: принесу медаль всесоюзного первенства, тогда будем разговаривать по-другому! Тогда, хотите вы этого или нет, а возьмёте меня геологом в горы.

Три года ходил с альпинистами. Подделывал медицинские справки, чтобы допускали к восхождениям, выполнил норму кандидата в мастера спорта.

Потом — восхождение на пик маршала Жукова. Маршрут высшей категории трудности. Технический класс — стенное восхождение. Всё залито льдом. В Рушанском хребте. Горка — гигантский кристалл. Нижняя отвесная стена — восемьсот метров, верхняя, зубом, — пятьсот. Абсолютно вертикальный склон. Часто даже минусовой. Это когда зависишь в воздухе, а до стены не дотянуться рукой.

Нас шестеро, вылетели сперва в Рушан, а оттуда вертолётном в базовый лагерь. В июле. Отправились в разведку. Одна группа вышла на перевал — осмотреть пик. На вершине, на башне — гигантская снежная шапка. Если сорвётся — сметёт нас, как букашек.

Лагерь № 2 — для команды, которая пойдёт на штурм. На морене, под ледником. Две палатки. Сидели, смотрели на стену, изучали в бинокли. Пошли двое. За день обработали восемьдесят метров. Забили крюки, навесили верёвки.

Испортилась погода. Нашёл морионы, горный хрусталь, полевые шпаты. Вся команда заразилась, бросилась искать по моренам. Капитан команды ругался:

— Проклятый Анатолий, всю команду свёл с ума!

Закон альпиниста: идёшь на штурм, увидишь золотой самородок — преступи.

Всё время смотрели на верхнюю башню, на снежную шапку.

Два дня валил снег. Под конец третьего всё содрогнулось от внезапного грохота. Выскочили из палаток: над белой башней белым облаком клубится снег. Как атомный взрыв.

Рассеялось: снежная шапка исчезла — облегченно вздохнули...

— Ну, а если бы обвалилось позже? Когда вышли на штурм?

— Тогда, уважаемый Андреевич, мы не лежали бы с вами здесь...

“На следующий день вышли на штурм нижней стенки. Восьмисотметровой.

Шёл последним. Выбивал крючки, которые оставались за группой, складывал в рюкзак. Всё время раскачивался маятником. Да ещё трикони плохо держались. Ребята же — в вибрамах, а на особо сложных участках — в галошах. Очень тяжёлый день — всё время висел.

За этот день, с шести утра до четырёх ночи, прошли запланированное расстояние. На особенно трудных участках рюкзаки вытаскивали на верёвках. Я подавал. Когда тянули, срывались камни, сыпались искры. Врежет таким камешком — забудешь, как тебя звали. Смертельно устал. Поднимался по верёвке, на зажимах.

Ночевали на отвесной стене, сбившись в кучу. Команда чувствует себя лучше, когда все рядом. Утром не было сил идти дальше. Еле прошли двести метров. Заночевали в пещере, отдохнули. На третий день я с капитаном ушёл вперед. Вырубили ступеньки во льду на траверсе, добрались ещё до одного грота. Утоптали снег, отгородившись плащами от воды, беспрерывно капавшей на головы. Рюкзаки поднимали на блоках. Ночевали в гроте. Утром

прошли заглаженные “бараны лбы”, впритык приблизились к башне. На ночь устроились, кто где мог — на верёвках. Я вырубил во льду узенькое сиденье, положил поролончик, уселся, пристегнувшись к карабину. Ноги — в рюкзак. Когда забивал крюк, выпустил молоток. Молоток полетел, даже не коснувшись стенки. Минусовый склон.

На следующий день все поднялись на вершину. Спускались по стене целый день. К кулуару. Шли молча, давала себя знать усталость. Восемь суток на грани невозможного. Заночевали. Звёзды, небо, чёрная башня — не верилось, что мы на ней побывали. Выспавшись, стали спускаться в базовый лагерь. Не торопились.

В лагере встреча, традиционный компот. Бронзовые медали. А в тысяча девятьсот семьдесят пятом — золотые”.

— Когда я прилетела в Душанбе, — вспоминала как-то Элла, — Анатолий встретил меня злой, как чёрт: “Ты чего прилетела? Замуж за меня выходить?” Я так растерялась, что, в свою очередь, спросила: “А что, нельзя?”

Элла и по сей день не может без смеха вспоминать, какое лицо было у регистраторши загса.

— Я думала, что её стукнет инфаркт. Или бросится к телефону — вызывать милицию.

Они должны были расписываться третьего октября. Ровно в двенадцать. А первого октября Анатолий отправился штурмовать очередную вершину. Это восхождение было для него особенно важным: генеральная репетиция перед “золотом”. Двадцать девятого сентября, провожая Эллу из базового лагеря (Элла должна раньше поехать в Душанбе — дошивать свадебное платье), Анатолий пообещал, что второго октября обязательно возвратится. Горка, в общем-то, не очень сложная, в течение суток они её “сделают”, а за оставшиеся сутки он как-нибудь сумеет добраться домой.

— Так что готовь, Эл, свадебную свою амуницию! А за мной задержки не будет!

Уже первого октября, заканчивая платье, Элла потеряла остатки покоя: все мысли — об Анатолии. Она хорошо рассмотрела ту “горку”, когда была в базовом лагере. Элле мерещились распротёртые тела, упавшие вниз вместе с камнями. А тут ещё свадебные подружки:

— Как ты за такого замуж выходишь? Перед самой свадьбой попёр в горы!

Сшили платье — белое; платье сначала примерила Элла, затем подружки — те, что собирались замуж, и те, что даже ещё и не собирались; снимали его осторожно, кончиками пальцев, потом надели на плечики, повесили на гвоздик (шкафа у них тогда ещё не было. Всей мебели стол, старенькая кровать, на которой отлежалось не одно свадебное поколение, этажерка с книгами и две табуретки); платье висело, как картинка, а жениха всё не было и не было, Анатолий не появился ни второго октября вечером, ни третьего утром, и Элла уже не о платье думала и даже не о свадьбе, а только о том жёлобе, по которому беспрерывно летели камни.

— Раздумал! — говорила одна из подруг. — Они все такие: помянут, а сами в кусты!

— А может, где-то застрял, — успокаивала другая. — А вдруг убило?

— Да ничего с ним не случилось! — возражал друг Анатолия, который пришёл утром третьего октября. — Его и бревном с ног не собьёшь! Не то что каким-то камнем!

— А почему же до сих пор его нет?

— Что-то, наверное, задержало. Вроде ты сама в горах не бывала! Никуда твой Анатолий не денется.

— А как же свадьба?

— Вам когда в загс?

— В двенадцать.

— А сейчас только десятый час. Ещё уйма времени. Подождём.

— А если не появится?

— Всё равно пойдем в загс. Мы с Анатолием всё продумали... Да не смотри на меня так, за аксакала замуж не отдадим!.. Витя, иди-ка сюда! — крикнул он в окно.

И пока неизвестный Витя обходил дом, спросил по-деловому:

— Паспорт Анатолия у тебя?

— Вон... На столе.

Взял паспорт, посмотрел на фото, удовлетворённо сказал:

— То, что нужно! — и к Вите, который постучал в дверь: — Заходи!

Витя зашёл, и Элла от величайшего удивления вытаращила глаза: живая копия Анатолия стояла перед ней. Только и всего, что у Анатолия не было такого праздничного костюма, таких лакированных ботинок, а импортный яркий галстук и белоснежный краешек платочка, выглядывавший из кармана, придавали двойнику Анатолия такой импозантный вид, какой никому здесь и не снился. К тому же ещё и гвоздика, шикарно прикреплённая к лацкану пиджака. Правда, были у него не чёрные, как у Анатолия, а серые глаза.

— Годится? — спросил друг Анатолия.

Он очень напоминал сейчас скульптора, который демонстрировал публике творение собственных рук.

— Пришлось только выкрасить брови и голову: Анатолий ведь чёрный, а Витька — рыжий.

— Не рыжий, а блондин, — обиделся Витька.

— Так что всё в полном порядке. Подождём пару часиков и в случае чего поедем расписываться.

— С кем?.. — Элла всё ещё не могла или не хотела понять, что они затевают.

— Да с Витькой же! — как маленькой, втолковывал ей друг Анатолия. — Даю полную гарантию: никто ничего не заподозрит. Штампик поставят, а там и Анатолий появится...

— Я не поеду! — возмутилась до глубины души оскорблённая Элла. — Пусть едет кто угодно, а я не поеду!

— Да пойми, что это же не на самом деле! — друг Анатолия уже начал терять терпение. — Ты что думаешь: станешь женой Вити? — Витя молча стоял, потупив взгляд. — У Вити своя девушка есть... Правда, у тебя есть девушка?

Витя кивнул головой, что есть.

— Вот видишь!.. А ты что, книг не читала? О королях из этой, как её... из Франции... Там короли никогда сами под венец не становились — посылали кого-то из дворян. И ничего, исправно рождались наследники...

Но Элла не собиралась рожать наследников трона.

— Я не поеду! — и резко мотнула головой.

— Так что же, отправлять мне Витю назад? — трагически спросил друг Анатолия. — А что тогда скажет Анатолий? Ведь это же у него, быть может, последняя надежда!

При слове “последняя” в Эллино сердце словно кто-то вонзил иголку. Снова качнулся тот жёлоб, густо посыпались камни. И падающие вместе с камнями тела. Она только жалобно спросила:

— Давайте подождём, сколько можно... Давайте?

— До половины двенадцатого, — постучал по часам друг Анатолия. — Позже нельзя — пропустим очередь.

И Элла согласилась.

Сидели как на иголках. Ровно в одиннадцать друг Анатолия scomандовал: — Элла, девушки, собирайтесь. А мы с Витей побежим ловить такси.

Ещё полчаса, Элла уже одета, такси возле подъезда, пора выходить. И тут, точно в пьесе, в коридоре гулко затопали трикони.

— Анатолий! — Элла так и бросилась к дверям.

— Что за шум, а драки нет?

И вся альпинистская ватага во главе с Анатолием появилась в дверях.

Он так и поехал: в вибрамах, в штормовке, в потёртых на скалах штанах, с облупленным, как у горького пьяницы, носом. С набухшими синяками через всю щёку: попало-таки камешком, хорошо ещё, что хоть зубы уцелели. Он так и поехал рядом с нарядной Эллою — прямо чёрт и ангел, а вокруг ещё пятеро таких же чертей — только зубы блестят; набились в такси — аж затрещало. “Вези, не дрожи! — к шофёру: — Свадьба же бывает раз в жизни! —

А милиция? — Засватаем, если нужно будет, и милицию!” До самого загса Анатолий держал счастливую Эллу за руку, и когда они, приехав, вывалились из машины, прохожие разевали рты, а другие свадебные кортежи от страха или изумления уступали дорогу: с такой бандой только свяжись! Несчастливая же регистраторша загса долго не могла сообразить, кто перед ней, и у неё дрожали руки, когда она раскрывала книгу регистрации брака. Регистраторша забыла даже поприветствовать их, чем они, впрочем, не очень огорчились, выдала только: “Распишитесь”, — и с таким подозрением рассматривала потом подпись Анатолия, словно то была какая-то печать сатанинская. Потому она и не слышала, как они вышли из загса, снова уселись в машину и шумно отправились на свадьбу.

И я на той свадьбе (пусть даже в воображении) был, и мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Скорее всего, по той причине, что я отродясь не заводил усов.

*Авторизованный перевод с украинского  
К. Григорьева  
1985*